

ОРХАН ПАМУК ДРУГИЕ ЦВЕТА

Памук будто приглашает нас
в увлекательное и трогательное
путешествие по лабиринтам
своей души.

THE NEW YORK REVIEW



Орхан Памук

Другие цвета

Серия «Большой роман (Аттикус)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7630695

Другие цвета: Амфора; Москва; 2023

ISBN 978-5-389-23648-6

Аннотация

«Другие цвета» – настоящий подарок всем поклонникам известного турецкого писателя Орхана Памука. Эта книга составлена по принципу калейдоскопа из самых разных текстов: здесь и автобиографические зарисовки, и небольшие рассказы, и размышления о творчестве любимых писателей, и нобелевская лекция, и очерк о стамбульских землетрясениях. «Другие цвета» – самая личная книга Памука, в которой автор делится своими страхами, вспоминает печальные и радостные события своей жизни и приподнимает завесу над некоторыми тайнами своего творчества.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Предисловие	6
Жизнь и заботы	10
Глава 1	10
Глава 2	26
Глава 3	34
Глава 4	40
Глава 5	43
Глава 6	45
Глава 7	49
Глава 8	52
Глава 9	55
Глава 10	58
Глава 11	60
Глава 12	63
Глава 13	66
Глава 14	72
Глава 15	74
Глава 16	79
Глава 17	82
Глава 18	86
Глава 19	89
Глава 20	93
Глава 21	98

Глава 22	102
Глава 23	110
Глава 24	116
Глава 25	123
Глава 26	128
Глава 27	135
Глава 28	149
Книги и чтение	164
Глава 29	164
Глава 30	169
Глава 31	172
Конец ознакомительного фрагмента.	175

Орхан Памук

Другие цвета

Orhan Pamuk

ÖTEKİ RENKLER

Copyright © 2006, Orhan Pamuk

All rights reserved

Орнаментальная композиция на обложке выполнена Вадимом Пожидаевым-мл.

© А. С. Аврутина, перевод, 2007

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

Предисловие

Эта книга сложилась из идей, образов и фрагментов моей жизни, которые еще не нашли отражения в романах. Я объединил их в сонное непрерывное повествование. Иногда меня удивляет, что я не сумел вместить в свои романы все мысли, которые, как мне кажется, стоят внимания. Странные моменты жизни, незначительные повседневные эпизоды, которыми мне хочется поделиться с другими, и слова, что, наполняя меня радостью и силой, идут из сердца, не сливались воедино, несмотря на мое огромное желание. Некоторые фрагменты автобиографичны, некоторые я писал в спешке, а некоторые и вовсе позабылись, так как голова у меня была занята другим... Я вернулся к ним почти так же, как возвращаются к старым фотографиям, где запечатлены счастливые мгновения нашей жизни, и мне нравится перечитывать эти записи, хотя я редко перечитываю то, что написал. Больше всего мне нравится, когда эти рассказы выходят за рамки описываемых ситуаций, за рамки газетных и журнальных статей, больше сообщая о моих интересах, переживаниях, о том, что я хотел в то время сказать и что Вирджиния Вулф когда-то определила как «моменты бытия».

Между 1996 и 1999 годом я каждую неделю писал в Стамбуле статьи в полуполитический, полуюмористический журнал «Окюз» («Бык»), которые сам иллюстрировал. Это были

короткие, написанные почти с поэтическим воодушевлением, за один присест, очерки, и мне очень нравилось рассказывать в них о моей дочери Рюйе, вновь открывая для себя мир и воспринимая его посредством слов. С годами я все больше верю, что задача литературы заключается не столько в том, чтобы рассказывать о мире, сколько в том, чтобы «смотреть на мир посредством слов». С того момента, когда писатель начинает пользоваться словами, как художник – красками, он вновь открывает для себя, как удивителен и прекрасен мир, и, преодолевая застывшие своего языка, обретает собственный голос. Для этого ему нужны бумага и ручка, а еще оптимизм ребенка, который вдруг впервые увидел мир.

Я собрал все эти наброски, чтобы составить совершенно новую книгу на автобиографической основе. Многие рассказы я выкинул, некоторые сократил, извлекая отрывки из дневников и сотен интервью, и разбросал их по книге, радуясь, что я составляю непрерывную историю. Например, три речи, прочитанные мной по случаю вручения трех премий, которые были изданы как на турецком, так и на других языках мира отдельной книжечкой «Чемодан моего отца» (туда входила одноименная нобелевская лекция, речь «В Карсе и Франкфурте», прочитанная на вручении Премии мира Союзом немецких книготорговцев, и речь «Предполагаемый автор», которую я произнес на Ежегодной конференции по мировой литературе Путербо в Университете Оклахомы), в

этой книге помещены в разные части, чтобы соответствовать ходу автобиографического повествования.

Данная версия «Других цветов» создана на основе одноименной книги, выпущенной в 1999 году в Стамбуле, но то был сборник статей, а книга, которую вы сейчас держите в руках, трансформировалась в цикл автобиографических очерков, воспоминаний и размышлений. Рассуждения о Стамбуле, о любимых книгах, писателях и картинах всегда служили для меня поводом говорить о жизни. Заметки о Нью-Йорке я написал в 1986 году, когда впервые приехал в этот город, — хотел запечатлеть первые ощущения иностранца и думал о том, как их воспримет турецкий читатель. Завершающий книгу рассказ «Взгляд из окна» настолько автобиографичен, что имя героя могло вполне быть Орхан. Однако старший брат в этом рассказе, жестокий и деспотичный — как все старшие братья в моих романах, совершенно не похож на моего настоящего старшего брата, Шевкета Памука, известного профессора экономики. Когда я составлял эту книгу, я с тревогой заметил, что у меня прослеживается явная тяга к природным катаклизмам (например, землетрясениям) и катаклизмам социальным (политика), и тогда я исключил несколько мрачных политических статей. Я всегда верил, что во мне сидит страстный и неумолимый графоман — существо, которое постоянно пишет и не может насытиться и для которого слова являются смыслом жизни, — и мне нужно все время что-нибудь писать, чтобы он был доволен.

Но когда я занимался этой книгой, я увидел, что графоману во мне будет гораздо приятнее и он будет меньше страдать от своей болезни, если станет работать с редактором, который придаст всему, что он написал, основную идею, форму и смысл. Я хочу, чтобы внимательный читатель отметил мои творческие усилия как редактора и мои старания как писателя.

Я, как и многие, люблю немецкого писателя и философа Вальтера Беньямина. Но чтобы позлить одну приятельницу, которая слишком уж им восхищается (она занимается наукой, естественно), я иногда говорю: «И что в нем такого уж великого, в этом писателе? Он сумел закончить всего несколько книг и прославился не теми книгами, которые дописал, а теми, что никогда не мог завершить». А моя приятельница говорит, что труды Беньямина безграничны, как сама жизнь, и, следовательно, существуют в виде фрагментов, поэтому-то многие исследователи пытаются придать им смысл, как, впрочем, и жизни. А я всякий раз улыбаюсь и отвечаю: «Однажды я тоже напишу книгу, состоящую из фрагментов». Вот эта книга; она обрамлена рамками, что предполагает наличие главенствующей идеи, ядра, которое я попытался скрыть, и я надеюсь, что читателям понравится представлять себе это ядро в жизни реальной.

Жизнь и заботы

Глава 1

Предполагаемый автор

Я пишу уже тридцать лет. И давно повторяю эти слова. Я так много раз повторял их, что они перестали быть правдой, потому что сейчас уже пошел тридцать первый год моего писательства. И все-таки приятно говорить: я уже тридцать лет пишу романы, хотя это и не совсем верно. Время от времени я пишу что-нибудь другое: очерки, критические статьи, заметки о Стамбуле или о политике, речи... Но моим главным призванием, тем, что привязывает меня к жизни, является написание романов. Многие блестящие писатели пишут гораздо дольше меня, пишут уже более полувека, не привлекая к этому процессу особого внимания... А творческая жизнь таких великих писателей, как Толстой, Достоевский или Томас Манн, которых я с восторгом и любовью перечитываю вновь и вновь, вообще длилась не тридцать лет, а более пятидесяти... Почему же я придаю так много значения тридцати годам моей писательской деятельности? Я делаю это потому, что хочу говорить о процессе написания книги и в особенности о написании романа как о привычке.

Чтобы чувствовать себя счастливым, мне нужно каждый день получать определенную дозу литературы. В этом я похож на больных, которым каждый день нужно принимать по ложке лекарства. В детстве я узнал, что больным сахарным диабетом нужно каждый день делать укол, чтобы вести нормальный образ жизни, и мне было очень жаль их; мне даже казалось, что они наполовину мертвы. И я тоже живу наполовину из-за моей зависимости от литературы. Раньше, особенно в молодости, я думал, что меня считают оторванным от реальной жизни, а поэтому обреченным на полумертвое состояние. Может быть, правильнее было бы назвать это состояние полупризрачным. Часто мне даже казалось, что я мертв и пытаюсь вдохнуть жизнь в свой труп с помощью литературы. Литература для меня – это лекарство. Лекарство, которое принимают ложками или в виде инъекций, литература, которую мне «необходимо принимать» каждый день – моя «доза», если можно так сказать, – должна обладать определенными свойствами и определенной консистенцией.

Прежде всего, «лекарство» должно быть хорошим. Под качеством я понимаю искренность и силу. Ничто не доставляет мне столько счастья и ничто так крепко не привязывает меня к жизни, как чтение отрывка какого-либо насыщенного, глубокого романа, в мир которого я смог поверить. Я также предпочитаю, чтобы автора уже не было в живых, чтобы ни малейшая тень зависти не омрачала моего восхищения. С возрастом я замечаю, что самые лучшие книги на-

писаны уже умершими писателями. А если они еще живы, то незримо присутствуют среди нас, как призраки. Поэтому, когда мы видим великих писателей на улице, мы волнуемся, словно видим призраков, и, не веря своим глазам, с интересом наблюдаем за ними издалека. Редкие смельчаки осмеливаются подойти к призраку и попросить у него автограф. Иногда я говорю себе, что через какое-то время этот писатель тоже умрет и его книги будут еще сильнее волновать нас. Но конечно же, так бывает не всегда.

Если я пишу, мне ежедневно нужна совершенно иная «доза литературы». Потому что самое лучшее лекарство для тех, кто страдает той же болезнью, что и я, источник самого большого счастья – писать каждый день по полстраницы хорошего текста. Уже тридцать лет я пишу почти каждый день за своим столом, у себя в комнате, не меньше десяти часов. Если посчитать только то из написанного, что оказалось достойным и было опубликовано, за тридцать лет получается в среднем меньше чем полстраницы в день. К тому же то, что я написал, слегка недотягивает до уровня, который я считаю «достойным». Вот вам две важные причины, чтобы чувствовать себя несчастным.

Но я хочу, чтобы вы правильно меня понимали: писатель, который так привязан к литературе, как я, не настолько поверхностен, чтобы чувствовать радость от красоты созданных им книг либо гордиться их успехом или количеством. Литература ему нужна не для того, чтобы спасти свою жизнь,

а для того, чтобы спастись от тяжелого дня, который он переживает. А дни всегда тяжелые. Жизнь трудна, если вы не пишете. Трудна потому, что вы не можете писать. И еще потому, что вы пишете, ведь писать очень трудно. Главное заключается в том, чтобы суметь обрести надежду среди этих трудностей и прожить день, и, если книга и ее страницы, которые уносят вас в другой мир, удались, радоваться в тот день и чувствовать себя счастливым.

Хочу рассказать, что я чувствую, когда не удастся хорошо поработать или не смог потеряться в какой-нибудь книге. Сначала мир начинает казаться мне неприятным, в чем-то даже отвратительным; те, кто знает меня, сразу это замечают, потому что я становлюсь похожим на этот мир. Например, по тоскливому выражению моего лица вечером дочь сразу понимает, что днем мне не удалось как следует поработать. Я пытаюсь скрыть это от нее, но у меня не получается. В такие черные минуты мне кажется, что нет разницы между жизнью и смертью. Я не хочу ни с кем разговаривать, и те, кто видит меня в таком состоянии, тоже не хотят со мной разговаривать. Вообще-то, я переживаю нечто похожее, но в легкой форме каждый день после полудня, с часа до трех, но я уже знаю, что лучшее лекарство от этого – работа и чтение, и, если я начинаю действовать своевременно, мне удастся спасти положение, прежде чем я полностью превращусь в живой труп. Если я долго не принимал свое лекарство из чернил и бумаги из-за поездок, необходимости заплатить за

газ, службы в армии (это было давно), политических событий (это было недавно) и каких-либо других помех, я чувствую, что каменею от горя. Тело подчиняется мне с трудом, ноги деревенеют, голова становится квадратной, и даже пот, кажется, пахнет как-то по-другому. И эти страдания могут продлиться долго: жизнь полна наказаний, отдаляющих человека от литературы. Я могу принимать участие в многолюдном политическом собрании; болтать с друзьями в коридоре университета; ужинать с родственниками в праздничный день; пытаться вести беседу с хорошим человеком, у которого голова забита тем, что он видел по телевизору, или с которым мы не совпадаем во взглядах; присутствовать на важной деловой встрече или, как обычно, пойти за покупками, к нотариусу или фотографу за фотографией на визу, — как вдруг внезапно мои веки тяжелеют и я засыпаю среди дня. Когда я далеко от дома, когда я не могу вернуться к себе в комнату и остаться один, моим единственным утешением становится сон среди дня.

Да, наверное, моей главной потребностью является не литература, а уединение в комнате, где я предаюсь мечтам. Когда я один, все эти собрания, семейные и университетские встречи или праздничные ужины, как и присутствующие на них люди, кажутся мне очень приятными. Я дополняю эти праздничные ужины воображаемыми деталями, а людей делаю еще более забавными. В моих мечтах, конечно же, все становится интересным, чарующим, настоящим. Из этого хо-

рошо знакомого мира я создаю новый мир. Теперь мы дошли до самого главного. Для того чтобы хорошо поработать, мне нужно сильно заскучать; а чтобы сильно заскучать, мне нужно оказаться там, где жизнь бьет ключом. Именно там, среди шума и гама, где-нибудь в офисе, где звонит куча телефонов, или на солнечном морском берегу в окружении родных и близких, или на похоронах в дождливую погоду, то есть тогда, когда я вот-вот начну ощущать себя в самой гуще событий, я внезапно начинаю чувствовать, что на самом деле я больше не участвую в происходящем, а смотрю на все со стороны. Я начинаю мечтать. Если у меня плохое настроение, я думаю только о том, как мне скучно. А если нет, то внутренний голос велит мне вернуться в комнату и сесть за стол. Не знаю, как в таком случае ведут себя другие, но такие, как я, только так и становятся писателями. И мне кажется, что в этом случае обычно создается проза, роман, а не поэзия. Таким образом мы узнаем еще кое-что о свойствах лекарства, которое мне нужно обязательно принимать каждый день. Теперь понятно, что его активными компонентами являются скука, обычная жизнь и сила воображения.

Удовольствие, которое я получаю от этого признания, и страх, который я ощущаю, когда честно рассказываю о себе, ведут меня к пониманию весьма серьезного и важного момента, о котором мне хочется рассказать. Я предлагаю крайне простую теорию процесса написания книги, который начинается с того, что на первом этапе работа является утеше-

нием и даже лекарством, по крайней мере для таких писателей, как я: мы выбираем темы и формы своих романов соответственно нашей повседневной потребности мечтать. На создание романа влияют мысли, страсти, гнев, желания, мы все об этом знаем. Радовать наших возлюбленных, унижать наших врагов, хвалить то, чем мы восхищаемся, разговаривать о том, что мы любим, с удовольствием рассуждать о том, чего совершенно не знаем, с наслаждением вспоминать о чем-то либо не вспоминать вообще, желать быть любимым, желать, чтобы тебя читали, интересоваться политикой, желать удовлетворить чьи-то потребности, личные пагубные страсти — эти и множество других неясных, абсурдных желаний тайно или явно направляют нас... Те же самые желания оказывают влияние и на наши мечты, о которых мы хотим говорить. Мы можем точно не знать, откуда появились наши желания и что означают наши мечты, но, когда мы начинаем писать, мы хотим, чтобы они направляли нас, подталкивали, словно неизвестно откуда задувший ветер. Можно даже сказать, что мы подчиняемся воле этих темных сил. Мы похожим на капитана корабля, который не знает, куда плыть... Но краешком сознания мы все-таки понимаем, в каком месте мы находимся и куда хотим доплыть. Даже тогда, когда я полностью подчиняюсь воле ветра, я, по сравнению с другими писателями, которых я знаю и которыми восхищаюсь, примерно помню свое основное направление и предполагаю, куда я иду. Перед тем как отправиться в путь, я составляю

план: делю рассказ, который собираюсь написать, на части, в зависимости от того, в какие порты предстоит зайти моему кораблю, какие грузы загрузить, а какие – выгрузить и сколько приблизительно времени займет мое путешествие, и отмечаю все это у себя на карте. Но если все-таки мой парус раздувается порывом ветра и решает изменить направление рассказа, я не противлюсь этому. На самом деле кораблю необходимы полнота и целостность, когда он идет под раздутыми парусами. Словно я ищу некое особое место и время, где одно перетекает в другое, где все связано между собой, где все знает обо всем. Между тем ветер потихоньку успокаивается, и я замечаю, что застыл там, где царит полный штиль. И все же я чувствую, что и в этих спокойных водах, покрытых туманом, скрывается нечто, что поможет моему роману медленно плыть вперед... Я больше всего хочу, чтобы поэтическое вдохновение, о котором я рассказывал в романе «Снег», посетило и меня. Это разновидность вдохновения, о котором писал Колридж, пережив его во время создания поэмы «Кубла Хан»... Я страстно желаю, чтобы меня посетило такое же вдохновение (так Колриджу пришла его поэма, а герою романа «Снег» Ка – его стихи), яркое и впечатляющее, желательно уже в виде готовых сцен и ситуаций, которые сразу можно поместить в роман. Если я терпеливо и внимательно жду, то мое желание сбывается. Писать книгу – значит быть открытым этим желаниям, ветрам, порывам вдохновения, темным уголкам сознания и минутам туман-

ной неясности и застоя.

А роман – это история, что идет под парусом, наполненным этими ветрами; она отражает различные формы вдохновения и объединяет общим смыслом то, что мы воображаем и создаем в своем сознании. Но прежде всего роман – это сосуд, заключающий в себе полный жизни воображаемый мир, туда мы хотим иметь возможность попасть в любой момент. Романы состоят из фрагментов наших фантазий, которые помогают нам оказаться в мире книги и как можно быстрее забыть о скучном реальном мире. Чем больше мы пишем, тем богаче становятся эти фантазии, тем просторнее, совершеннее, насыщеннее и прекраснее становится этот воображаемый мир. Мы познаем этот мир, пока пишем, и чем лучше мы его узнаем, тем проще сохранить его в своем сознании. Если я нахожусь на середине романа и работается легко, я с легкостью вхожу в его мир фантазий. Ведь романы – это новые миры, куда мы входим, когда читаем их, и, наверное, существуем, когда их пишем: писатель придает книгам форму, он хочет, чтобы они выражали фантазии, его фантазии. Внимательному читателю они дарят счастье, хорошему писателю они дарят надежный, прочный новый мир, укрывшись в котором он будет счастлив в любой час дня. Если я подхожу к рабочему столу, на котором лежат мои тетради и ручка, и чувствую, что могу создать хотя бы маленькую часть того чудесного мира, я счастлив. Я мгновенно выхожу из привычного, банального мира и оказываюсь в другом – просторном

и свободном, и обычно мне не хочется ни возвращаться в реальную жизнь, ни завершать роман, поскольку это будет означать, что я прекращаю созидать мир, который с каждой минутой становится все многограннее. Мои чувства похожи на просьбы некоторых читателей, которые говорят мне: «Пожалуйста, пусть новый роман будет подлиннее!» Я горжусь, что слышу эти слова в тысячи раз чаще, чем вечные слова издателей: «Пожалуйста, пишите покороче!»

Как получается, что привычка, прихоть одного человека рождает то, что вызывает интерес у других людей? Те, кто читал «Имя мне – Красный», помнят, что в конце романа Шекюре говорит о том, что тот, кто пытается все объяснить, является глупцом. Я в данной ситуации разделяю мнение Шекюре, а не моего тезки, маленького героя по имени Орхан, над которым подсмеивается его мать. Но, если позволите, я все же совершу глупость, поведу себя как Орхан и попытаюсь объяснить, почему фантазии, что служат лекарством писателю, могут лечить и других людей: потому что если я целиком погрузился в свой роман и работа идет хорошо – если я сумел отгородиться от телефонных звонков, вопросов, требований и проблем повседневности, – то правила, по которым существует мой рай, где я пребываю со своей книгой и где можно свободно парить в воздухе, напоминают мне правила игр моего детства. Все становится проще, я словно нахожусь в мире, где могу заглянуть в каждый дом, машину, корабль, – все сделано из стекла; все предметы посвящают

меня в свои тайны. Единственное, что мне остается делать, – предугадывать эти правила и слушать; с удовольствием наблюдать за тем, что происходит внутри домов; ездить на автобусах и машинах с моими героями и гулять по Стамбулу; а если мне вдруг становится скучно – смотреть на увиденное по-новому, меняя его; все, что мне остается делать, – быть счастливым, не заботясь ни о чем, ведь, пока я веселюсь как ребенок, я узнаю что-то новое.

Основное преимущество работы писателя, если он одарен воображением, заключается в умении, как ребенок, отвлекаться от мира и забывать о нем, и, радуясь всем сердцем, забывать об ответственности; в умении играть, словно игрушками, правилами обычного мира и, ощущая наивную радость и свободный полет воображения, все-таки испытывать чувство ответственности – ведь через некоторое время в этом мире окажутся читатели. Писатель может играть весь день, но в глубине души он понимает, что должен быть серьезнее всех. Именно ему дано видеть суть вещей так, как видят только дети. И, устанавливая правила своей игры, он чувствует, что читатели тоже поддадутся притяжению его правил, языка, предложений, притяжению рассказа и последуют за ним. Быть писателем – это значит заставить сказать читателя: «Я тоже хотел сказать именно это, но не мог бы выразить так просто».

Этот мир я открываю, создаю и делаю ярче, ожидая, пока неизвестный ветер наполнит мои паруса, и фантазирую,

глядя на карту, но иногда детское простодушие этого мира оказывается недоступным для меня. Такое случается с каждым писателем. Иногда я застреваю на каком-либо эпизоде или мне хочется вернуться к какому-нибудь фрагменту романа, но я чувствую, что не могу этого сделать. Подобные ситуации случаются часто, но я, наверное, страдаю от них немного меньше, чем другие писатели, – если я не могу продолжить с того места, где остановился, то я могу всегда повернуть в обратном направлении, попасть в роман другим путем и продолжить его с другой главы: ведь я внимательно смотрю на свою карту. Это не так важно. Однако прошлой осенью, когда я был занят решением некоторых проблем политического характера, я вновь пережил трудные минуты, я понял, что не могу продолжать писать, и я почувствовал, что обнаружил нечто, что тоже имеет отношение и к написанию романа. Постараюсь объяснить.

Судебное дело, открытое против меня, и политическая ситуация, в которой я оказался, сделали меня более «политически активным», «серьезным» и «ответственным», чем я есть. Позвольте, я вспомню об этом с улыбкой – плачевное положение дел и еще более плачевное душевное состояние, поэтому я не мог ощутить в себе детское простодушие, необходимое для работы... Все было понятно, я не очень удивлялся. Когда все пройдет, говорил я себе, я вновь обрету мимолетное чувство «беззаботности», детскую способность играть и способность по-детски смеяться и закончу ро-

ман, над которым работаю уже три года. И тем не менее я каждое утро, до того как проснутся десять миллионов жителей Стамбула, садился за стол и в безмолвии сменяющейся утром ночи пытался вновь войти в недописанный роман. Я предпринимал над собой усилия, я старался войти в тот прекрасный мир, который я так любил. В результате мне удалось извлечь из своего сознания куски романа и увидеть их... Но то был не роман, над которым я работал; то были сцены совсем другой истории. В эти тоскливые, безрадостные дни меня каждое утро все чаще посещали сцены, предложения, герои и странные детали какой-то совершенно другой книги... Вскоре я начал записывать отрывки этого нового романа в тетрадь и замечать детали, которых не замечал раньше. Этот роман должен был рассказать о картинах уже умершего современного художника. Так как я представлял себе этого художника, то воображал и написанные им картины. Через некоторое время я понял, почему не мог вернуться к детскому ощущению беззаботности в те печальные дни. Я не мог вспомнить ощущения ребенка, я мог вспомнить лишь свое детство, те дни, когда я мечтал быть художником (о чем я рассказывал в своей книге «Стамбул») и все время рисовал.

Потом судебное разбирательство против меня прекратилось, и я вернулся к роману под названием «Музей Невинности», над которым работал уже три года. И все-таки сейчас я планирую когда-нибудь написать тот роман, который сцена

за сценой являлся мне. Этот опыт показал мне, какую роль играют некоторые моменты духовного бытия в загадочном искусстве написания романа.

Я сумею объяснить это, употребив понятие «предполагаемый читатель», появившееся благодаря гению великого литературного критика и литературоведа Вольфгана Изера, слегка изменив его сообразно моим целям. Изер разработал блестящую теорию, касающуюся читателя. Он сказал, что смысл романа, который мы читаем, заключается не в самом тексте и не в среде написания, а в некоем промежуточном измерении. Согласно Изеру, смысл книги возникает тогда, когда ее читают, и, говоря о «предполагаемом читателе», он приписывает именно ему эту важную функцию.

Когда я воображал сцены, предложения и подробности совершенно другой книги – вместо той, над которой я хотел продолжать работать, я вспомнил именно об этой теории и подумал, что у каждой еще не написанной, но уже придуманной и запланированной книги (включая и мою недописанную книгу) должен быть предполагаемый автор. Итак, я сумел бы закончить книгу только тогда, когда сумел бы стать предполагаемым автором! Но в то время, когда я был занят решением политических проблем и бытовых ситуаций, я не мог стать писателем, которого подразумевала придуманная мною книга. И в те полные хлопот, печальные дни, когда шло судебное разбирательство, я тоже не мог стать писателем, которого подразумевала книга, которую я очень хотел напи-

сать. Потом все закончилось, я вернулся к своему роману – любовной истории, действие которой происходит между 1975 годом и нашим временем, произошедшей в состоятельной стамбульской семье, или, как выражаются газеты, «в семье из высшего света Стамбула», – и к прежнему состоянию, которое так жаждал вновь обрести. Когда я думаю о том, что скоро закончу этот роман, я чувствую себя счастливым. Но, пережив столь важный опыт, я понял, что на самом деле все эти тридцать лет посвящал себя тому, чтобы быть предполагаемым автором книг, которые я желал написать. Возможно, в моем случае это особенно важно, так как я всегда хотел писать толстые, серьезные, претенциозные книги и так как пишу я медленно. Представить себе книгу нетрудно. Я часто это делаю, так же как и часто воображаю себя другим человеком. Трудно стать предполагаемым автором книги, которую вы вообразили.

Но я не хочу жаловаться. Раз я уже написал и издал семь романов, хотя для этого и потребовались некоторые усилия, я готов с уверенностью заявить, что могу стать автором книг моей мечты. Подобно тому как я оставил в прошлом уже написанные мной книги, так я оставил позади и призраки авторов, которые могли бы их написать. Все семь «предполагаемых авторов», так похожих на меня, за тридцать лет познали, как выглядят мир и жизнь, когда смотришь на них из Стамбула, из окна, похожего на мое, они знают этот мир изнутри, верят в него и могут рассказывать о нем с детской се-

рѣзностью и ответственностью.

Я очень надеюсь, что смогу писать романы еще тридцать лет и под этим предлогом сумею прожить другие жизни под масками других людей.

Глава 2

Мой отец

В тот вечер я пришел домой поздно. Мне сказали, что отец умер. Когда прошла первая волна боли, я мысленно увидел его таким, как помнил с детства, каким я видел его дома: тонкие ноги в коротких шортах.

В два часа ночи я пришел к нему домой, чтобы повидать его в последний раз. «Там, в комнате», – указали мне, я пошел туда. Позднее, под утро, когда я возвращался домой по проспекту Валиконагы, улицы квартала Нишанташи, где я живу уже пятьдесят лет, были пустыми и холодными, а огни витрин – далекими и чужими.

Утром, невыспавшийся, я разговаривал по телефону, принимал посетителей, решал организационные и бюрократические вопросы и, пока получал записки, просьбы, поручения, решал мелкие споры и писал некролог, кажется, понял, почему всегда похороны внезапно становятся важнее самого факта смерти.

Под вечер мы поехали на кладбище Эдирнекапы, чтобы выполнить необходимые формальности, подготовить могилу. Мой старший и двоюродный братья ушли в маленькое здание дирекции кладбища, и мы остались сидеть вдвоем с водителем на передних сиденьях. Тогда водитель сказал, что он меня узнал.

– У меня отец умер, – сказал я ему.

И совершенно неожиданно, к своему удивлению, начал рассказывать ему об отце. Я говорил, что он был очень хорошим человеком и, что еще важнее, что я его очень любил. Солнце уже почти село. На кладбище было пусто и тихо. Бетонные городские дома, возвышающиеся за ним, утратили свой обычный унылый вид и излучали странный свет. Пока я рассказывал, бесшумный холодный ветер медленно раскачивал кладбищенские кипарисы и чинары – их вид поразил меня, они напоминали тонкие ноги отца.

Когда стало понятно, что придется долго ждать, водитель, сказавший, что он мой тезка, два раза сочувственно хлопнул меня по спине и уехал. То, о чем я рассказывал ему, я не рассказывал больше никому. Но неделю спустя то, что давило на меня изнутри, слилось с воспоминаниями и грустью. Если бы я не выразил это словами, чувство, возможно, усилилось бы, сделав мне гораздо больнее.

То, что я говорил водителю, моему тезке, что «отец даже ни разу сердито не посмотрел на меня, ни разу не отругал меня, ни разу не ударил», я говорил из эгоизма, думая о себе. Я забыл сказать о его потрясающей доброте. Он с искренним восхищением смотрел на каждый сделанный мной в детстве рисунок; любой написанный мной фрагмент он изучал, как шедевр, и искренне смеялся моим самым плоским и пресным шуткам. Если бы не уверенность, которую он вселил в меня, мне было бы гораздо сложнее стать писателем и сде-

лать это делом своей жизни. Его вера в нас и то, с какой легкостью отец внушил мне и брату, что мы выдающиеся и исключительные, шли от его искреннего восхищения собой и уверенности в себе. И он искренне и по-детски верил, что и мы должны быть такими же блестящими, талантливыми и сообразительными, как он, просто потому, что мы его сыновья.

Да, он был способным: он мог мгновенно запомнить и прочитать наизусть стихотворение из Дженаба Шахабеддина, высчитать число «пи» до пятнадцатого разряда или блестяще предсказать, чем закончится фильм, который мы смотрели вместе. А еще ему нравилось рассказывать истории о своей сообразительности. Он любил вспоминать один случай: когда он учился в средней школе и все еще ходил в коротких штанишках, учитель по математике посреди занятий пригласил его на урок в самый старший класс лицея и похвалил его, сказав: «Молодец!» – после того как маленький Гюндюз решил на доске задачку, которую не могли решить его старшие соученики, а он потом повернулся к остальным и сказал: «Вот вам!» Его сообразительность порождала во мне какую-то застенчивость, я ощущал нечто среднее между завистью и желанием быть таким, как он.

Могу сказать то же и о его привлекательной внешности. Все говорили, что я похож на него, но он был намного красивее меня. Как и наследство, доставшееся ему от отца (моего деда), которое он, несмотря на многочисленные банкрот-

ства, все никак не мог потратить, его привлекательность тоже сделала его жизнь легкой и веселой, и даже в самые тяжелые дни его никогда не покидали простодушный оптимизм, невероятная уверенность в себе и доброта, отличавшие его от окружающих. Жизнь для него была не соревнованием, а удовольствием. Он воспринимал мир не как поле боя, а как площадку для игр и развлечений, и с возрастом он стал слегка грустить из-за того, что его состояние, умственные способности и привлекательность, которыми он вволю наслаждался в молодости, не принесли столько славы и власти, сколько ему хотелось. Но, как и все остальное, это тоже не слишком огорчало его. Он мог совершенно спокойно отрешиться от проблемы, так же просто и бездумно, как ребенок, избавиться от причинявших ему боль людей и неприятностей. И хотя его жизнь после тридцати лет стала либо повторением пройденного, либо движением назад, я не слышал, чтобы он много жаловался. Однажды, уже будучи пожилым человеком, отец обедал с одним известным критиком, который, когда мы с ним встретились позже, с легким негодованием сказал мне: «У твоего отца нет никаких комплексов!»

Его оптимизм и веселый нрав, делавшие его похожим на Питера Пэна, удерживали его от злобы и страстей. Он не стал выдающимся литератором, хотя некогда очень много читал, мечтал стать поэтом, перевел немало стихотворений французского поэта Поля Валери, и я объясняю это тем, что он был слишком спокойным и слишком уверенным в сво-

ем будущем, чтобы не поддаваться страстям литературного творчества. У него была хорошая библиотека, и ему нравилось, что в годы отрочества я безжалостно разграблял ее. Но он читал книги не так, как я, — жадно, с головокружением, он читал ради удовольствия, чтобы отвлечься, и большую часть книг бросал недочитанными. В то время как другие отцы рассказывали своим сыновьям о великих религиозных или военных деятелях, он рассказывал о том, как гулял по улицам Парижа и видел Сартра или Камю (более близкий ему писатель), и его рассказы производили огромное впечатление на меня. Спустя много лет Эрдал Инёню (друг детства, однокурсник отца по Стамбульскому техническому университету, сын второго президента Турции, Исмета Инёню, ставшего преемником Ататюрка) однажды, на открытии какой-то выставки, рассказал мне с улыбкой об одном ужине в президентском особняке в Анкаре, на котором присутствовал мой отец, которому тогда было двадцать лет. Когда Иسمет-паша заговорил о литературе, отец спросил: «Почему у нас нет всемирно известных писателей?» Десять лет спустя после того, как начали издавать мои книги, отец, слегка смущаясь, отдал мне маленький чемодан. Я очень хорошо знаю, почему мне было не по себе читать тетради, стихотворения, литературные опыты и записки, которые я обнаружил там: все мы хотим, чтобы наш отец был не таким, какой он есть на самом деле, а таким, каким мы хотим его видеть.

Я очень любил, когда он водил меня в кино и потом слу-

шал, как я обсуждаю увиденный нами фильм с кем-то другим; я любил его шутки о глупых, злых и бездушных людях; его разговоры о новом сорте фруктов, о городе, в котором он побывал, о последних новостях, о какой-нибудь книге; но больше всего я любил, когда он гладил и ласкал меня. Мне очень нравилось, когда он катал меня на машине, потому что это означало, что я на некоторое время не потеряю его. Я любил эти автомобильные прогулки, потому что, когда он вел машину, он мог свободно говорить со мной на самые щепетильные, трудные и тонкие темы, и мы не смотрели друг другу в глаза. Через некоторое время он начинал шутить, а потом, поймав какую-нибудь радиостанцию, начинал говорить о музыке, которую передавали.

Но больше всего я любил быть рядом с ним и дотрагиваться до него, находиться недалеко от него. Когда я учился в лицее и на первых курсах университета, я проживал самые печальные, «кризисные» годы моей жизни, но мне всегда, несмотря на уныние, очень хотелось, чтобы он пришел к нам с мамой домой и что-нибудь рассказал, повеселил нас. Когда я был маленьким, я любил забираться к нему на руки или лежать рядом с ним, вдыхая его неповторимый запах и дотрагиваясь до него. Помню, как он учил меня, совсем еще маленького, плавать на Хейбели-ада: когда я начинал тонуть, отчаянно бултыхаясь, он подхватывал меня, и я чувствовал себя счастливым не только потому, что опять дышу, а потому, что крепко цеплялся за него и, боясь, что опять начну

тонуть, кричал: «Папа, не отпускай меня!»

Но он нас бросал. Он уезжал куда-то далеко, в другие страны, в другие, неизвестные нам края. Когда он читал, лежа на диване, я видел по его глазам, что его мысли где-то далеко. И тогда я чувствовал, что в человеке, которого я знал как своего отца, живет совершенно другой мир, куда мне не попасть, и я беспокоился, предполагая, что отец мечтает о другой жизни. Иногда он говорил: «Я чувствую себя напрасно выпущенной пулей». Почему-то я сердился на него за эти слова. И на многое другое сердился. Кто из нас был прав, я не знаю. Может быть, к тому времени я тоже уже хотел убежать в другие края. И все-таки я любил смотреть, как он дирижирует воображаемой палочкой воображаемым оркестром, включив запись Первой симфонии Брамса. Меня раздражало, что он ищет, на кого можно взвалить вину за то, что, прожив счастливую жизнь в поисках удовольствий или разумно стремясь убежать от проблем, он не получил от этих удовольствий ничего, кроме самих удовольствий. В двадцать лет я, бывало, говорил себе: «Пожалуйста, не становись таким, как он». А иногда я расстраивался, что не могу жить так же счастливо, спокойно, беззаботно и красиво, как он.

Годы спустя все это осталось в прошлом, зависть и гнев на отца, никогда не ругавшего и не обижавшего меня, забылись, и я вынужден был смириться с тем, что мы во многом схожи. Так что теперь, когда я ворчу или жалуюсь официанту, когда закусываю верхнюю губу или бросаю в угол недо-

читанные книги, когда целую мою дочь, вынимаю деньги из кармана или весело с кем-то здороваюсь, я ловлю себя на том, что подражаю ему. И не потому, что мои руки, плечи, запястья или родинка у меня на спине похожи на его. Именно это сходство пугает меня, приводит в ужас и напоминает о том, как я страстно желал в детстве быть похожим на него. Смерть каждого мужчины начинается со смерти его отца.

Глава 3

Записки о 29 апреля 1994 года

Французский еженедельник «Ля Нувель Обсерватёр» попросил различных писателей рассказать, что они делали 29 апреля 1994 года, в каком бы уголке мира они ни находились. Я был в Стамбуле.

ТЕЛЕФОН. Вытащив, как всегда, телефонный шнур из розетки, я сел писать свой хороший или плохой роман и на мгновение представил, что именно сейчас мне кто-то звонит по очень важному, жизненно важному вопросу и не может дозвониться, но телефон в розетку не включил. Спустя какое-то время я включил телефон, несколько раз с кем-то поговорил, о чем тотчас забыл. Журналист из Германии, приехавший в Стамбул, хочет поговорить со мной об активности фундаменталистов в Турции и об успехах исламистской Партии благоденствия на выборах. Я переспросил, с какого он телевизионного канала. Он назвал мне какие-то буквы.

БУКВЫ, ЛОГОТИПЫ, ТОРГОВЫЕ МАРКИ. Меня опять атаковали буквы реклам джинсовых фирм и банков, которые я видел в газетах, по телевизору и на уличных вывесках. Я встретил на улице приятельницу, профессора университета, она вытащила из сумки списки с названиями фирм и марок, каждую из которых я вижу ежедневно. Ей сказали, что владельцы этих фирм поддерживают исламистскую Пар-

тию благоденствия. Она сообщила мне, что теперь многие люди решили перестать покупать печенье и йогурты этих марок и никогда больше не посещать магазины и закусочные, указанные в списке. Как всегда, в лифте моего дома я начал от скуки смотреть не в зеркало, а на металлическую табличку: Wertheim. На калькуляторе «Casio» я выполнил простые математические расчеты, приведенные внизу этой таблички. На улице я увидел «плимут» 60-й модели и «шевроле» 1956 года, все еще использовавшиеся как такси.

УЛИЦЫ, ПРОСПЕКТЫ. Хотя из-за экономического кризиса турецкая валюта обесценилась за последние пару месяцев в два раза, на улицах и проспектах людей, как всегда, много. Мне стало интересно, куда все идут, а это, в свою очередь, напомнило мне о том, каким несерьезным занятием является литература: я увидел женщин с детьми, разглядывавших витрины, стайки хохочущих лицеистов, выстроившихся вдоль стены мечети торговцев контрабандными сигаретами, растворимым кофе, китайским фарфором, старыми любовными романами и зачитанными иностранными журналами мод; продавца огурцов с трехколесной телегой, забитые битком автобусы. Мужчины, столпившиеся у кафе напротив пунктов обмена валюты, сжимали сэндвичи, сигареты или полиэтиленовые пакеты, полные денег, следя по электронным табло за колебанием курса доллара. Мальчик-продавец из какого-то магазина разгружал контейнер с бутылками воды, таская их на спине. Я еще раз увидел сумасшед-

шего, недавно поселившегося в нашем квартале, и заметил, что он единственный в толпе, кто не несет полиэтиленовый мешок. В руках у него был настоящий автомобильный руль, и он крутил его вправо и влево, проходя через толпу. В полдень я, выпив апельсиновый сок, возвращался в маленькую квартиру, где я работаю, и увидел в толпе, расходившейся с пятничного намаза, старого приятеля, с которым мы немного поболтали и пошутили.

ШУТКИ, СМЕХ, СЧАСТЬЕ. Мы с другом-художником смеялись над некоторыми знакомыми богачами, вложившими средства в обанкротившийся две недели назад банк и потерявшими все. Почему мы смеялись? Потому что оказалось, что они вовсе не такие ловкие и сообразительные, как считалось. В тот вечер, довольно рано, еще один мой друг, переводчик, позвонил мне и позвал попить пива на улице перед пивными «в знак протеста» против мэра Стамбула из Партии благоденствия, и мы тоже с ним долго смеялись. Так как новый мэр приказал убрать с улиц столики и терроризировал всячески пивные, сотни интеллигентов собирались выйти на улицы и напиться там до потери сознания. Раньше те, кто был близок к политике, весьма скептически относились к алкоголю, но сейчас выпивка, похоже, стала символом зрелых политических реакций. Когда я приласкал перед сном мою двухлетнюю дочь Рюйю, она засмеялась, и я смеялся вместе с ней. Может быть, мы оба смеялись не потому, что были счастливы, а потому, что мечтали послушать

тишину, — именно об этом мечтаешь в Стамбуле, где днем никогда не смолкает шум.

СТАМБУЛЬСКИЙ ШУМ. Даже если я почти не обращаю на него внимания в минуты глубокого одиночества, я слышу этот шум весь день — как и остальные десять миллионов стамбульцев: сигналы автомобилей, рычание автобусов, треск моторов, стукстроек, крики детей, вопли громкоговорителей на машинах и минаретах, гудки кораблей, сирены полицейских машин и «скорой помощи», повсюду музыка из магнитофонов, хлопающие двери, поднимающиеся с металлическим лязгом ставни витрин, телефоны, дверные звонки, ссоры автомобилистов на улицах, свистки полицейских, школьные автобусы... Под вечер, незадолго до наступления темноты, как обычно, ненадолго наступило затишье, и в саду, над кипарисами и шелковицами, куда выходят окна дальних комнат моей рабочей квартиры, пролетели стаи отчаянно щебетавших ласточек. Из-за стола, где я сидел, я видел в окнах мерцающий отсвет телевизоров и ламп.

ТЕЛЕВИЗОР. Искусственные, неестественные цвета, светившиеся в окнах, постоянно менялись, и я понял, что многие люди, как и я, смотрят после ужина телевизор, переключаясь с канала на канал: крашенная блондинка-певица пела турецкую песню, мальчик из рекламы ел шоколадку, женщина премьер-министр говорила, что все идет к лучшему, на зеленом поле гонялись футболисты, пела какая-то турецкая поп-группа, журналисты обсуждали курдский вопрос, мель-

тешили машины американских полицейских, мальчик читал Коран, вертолет, охваченный огнем, взрывался в воздухе, какой-то человек со шляпой в руках под аплодисменты появлялся на сцене; снова женщина премьер-министр, домохозяйка сбивчиво рассказывает в микрофон о порошке, развешивая белье, слушатели хлопают женщине, правильно ответившей на вопрос в интеллектуальной викторине... В какой-то момент я посмотрел в окно и заметил, что, кажется, весь Стамбул смотрит на эти сценки в ночи, кроме пассажиров идущих по Босфору теплоходов, огни которых виднелись вдалеке.

НОЧЬ. Шум города изменился, он превратился в глухой гул, сонное бормотание. Поздно вечером я возвращался к себе в рабочую квартиру, полагая, что, может быть, смогу еще немного поработать, и увидел бродивших по пустым улицам четырех собак, сбившихся в стаю. В кофейне на цокольном этаже еще сидели припозднившиеся посетители – смотрели телевизор и играли в карты. Я увидел семью: было ясно, что они возвращаются из гостей, наверное от родственников, – отец нес уснувшего маленького мальчика, рядом шла беременная мать; они прошли мимо меня молча и торопливо, будто что-то их напугало. Среди ночи, после того как я сел работать, внезапно зазвонил телефон, и я испугался.

СТРАХ, ПАРАНОЙЯ, ФАНТАЗИИ. Это был какой-то сумасшедший, который звонил мне каждую ночь и молчал в трубку. Я вытащил телефонную вилку из розетки и долго ра-

ботал, но краешком сознания понимал, что в глубине души паникую и предчувствую какую-то беду: может, люди опять станут убивать друг друга на улицах или начнется гражданская война, а может, предстоящее лето будет невероятно засушливым, как обещают газеты, или, наконец, в Стамбуле случится сильное землетрясение, которого все ждут уже много лет, и Стамбул исчезнет с лица земли. После полуночи, когда все телевизоры наконец были выключены и огни почти всех домов погасли, по улице с грохотом проехал мусоровоз. Как обычно, перед грузовиком быстро и решительно шагал человек, обыскивавший уличные мусорные бачки, и, торопливо выбрав из них бутылки, которые можно сдать, жестяные банки и бумагу, бросал их к себе в мешок. После этого по пустой улице, где я живу уже сорок лет, с бряцанием проехала тележка старьевщика, груженная стиральной машиной и старыми газетами. Я сел за стол и вытащил калькулятор.

ИТОГ. Я выполнил простые подсчеты: умножил дни года на количество прожитых лет. Если полученная цифра верна, я прожил ровно 15 300 дней. Прежде чем лечь спать, я подумал, что буду считать себя везучим человеком, если проживу еще столько же.

Глава 4

Весенний день

В 1996–1998 годах в Стамбуле выходил тонкий политико-юмористический журнал под названием «Окюз» («Бык»), и я каждую неделю писал для него короткие лирические статьи и иллюстрировал их в стиле этого журнала.

Я не люблю послеобеденное время весной. То, как выглядит город, как бьет в глаза солнце, не люблю толпы людей, витрины, жару. Мне хочется сбежать от жары и света. Из высоких дверей каменных и бетонных жилых домов струится прохлада. В домах прохладнее, чем на улице, и, естественно, темнее. Там задержались зимний холод и сумрак.

Если бы можно было войти в один из этих домов и вернуться назад, в зиму. Если бы у меня был ключ в кармане, я открыл бы знакомую дверь и, вдыхая привычный запах прохладной полутемной квартиры, прошел бы в дальнюю комнату, радуясь, что избавился от солнца и скучной толпы.

В дальней комнате стояли бы кровать, комод с газетами – чтобы полистать, – книгами и любимыми журналами, а еще телевизор. Я бы бросился на кровать прямо в одежде и был доволен, что остался наедине со своей убогой жизнью, со своими страданиями, отчаянием. Нет большего счастья, чем остаться наедине с собственной грязью и убожеством. И нет большего счастья, чем не показываться никому на глаза.

Ладно была бы еще девушка: нежная и мягкая, как мать, умная и опытная, как деловая женщина. Она бы очень хорошо знала, что мне нужно делать, и я бы доверял ей.

Она бы спросила:

– Что тебя беспокоит?

– Ты же знаешь, – ответил бы я. – Эти весенние дни...

– Тебе просто скучно...

– Это хуже, чем скука. Я хочу исчезнуть. Мне все равно, буду я жить или нет. Или пусть мир исчезнет. И как можно скорее, будет лучше. Если бы мне пришлось остаться в этой прохладной комнате на несколько лет, то я бы остался. Я бы мог курить. Я бы ничего не делал, только курил долгие годы.

Но я перестаю слышать этот голос внутри себя. Самый трудный момент. Я остаюсь один на многолюдных улицах.

Я не знаю, случается ли такое с другими, но иногда весной, после полудня, мир словно тяжелеет. Все превращается в камень, становится бессмысленным, и, покрываясь потом, я недоумеваю, почему другие продолжают жить обычной жизнью.

Они шагают по улице, глядя в витрины, рассматривают меня из окон автобусов. А автобус выпускает мне в лицо выхлопные газы. Они тоже горячие. Я убегаю.

Я вошел в какой-то торговый центр. Внутри прохладно и темно; я успокоился. Люди здесь, кажется, поспокойнее, их легче понять. Но все-таки у меня нехорошие предчувствия. Шагая в кинотеатр, я смотрю на витрины.

Раньше в хот-доги и в пирожки с сосисками, то есть в самую сосиску, добавляли собачье мясо. Не знаю, добавляют сейчас или нет.

В газетах писали, что поймали людей, делавших лимонад в ведрах, в которых они моют ноги.

Они живут здесь, видят друг друга, любят, а потом женятся на девушках, выкрасивших волосы в мерзкий белый цвет.

Бумажные деньги в наших карманах раскисли от влаги.

Мне бы сейчас пошел на пользу какой-нибудь американский фильм: парень с девушкой от кого-то убегают в другую страну. Они любят друг друга, но все время ссорятся, и эти ссоры делают их еще ближе. Мне нужно сидеть в кинотеатре в первом ряду. А фильм должен быть таким, чтобы были видны поры на коже девушки; и она, и фильм, и машины из фильма должны выглядеть более реальными, чем жизнь вокруг. Потом они начнут убивать людей, а я буду сидеть и смотреть.

Глава 5

Вечером, когда смертельно устанешь

Вечером я, смертельно усталый, иду домой. Гляжу перед собой, на дорогу, на тротуар. Я злой, обиженный, сердитый. Хотя воображение продолжает работать, созданные им образы проносятся в моем сознании, словно мелькающие кадры киноленты. Время проходит. Ничего нет. Уже настала ночь. Гибель и поражение. Что на ужин?..

На столе горит лампа, рядом с ней стоят тарелка с салатом и все та же корзинка с хлебом; скатерть в клетку. А еще?.. Тарелка! Еще?.. Тарелка и фасоль. Я воображаю фасоль, но этого недостаточно. На столе горит та же лампа. Может быть, немного йогурта? Может быть, немного жизни?

Что по телевизору? Нет, я не буду смотреть телевизор; разозлюсь еще больше. Я очень рассержен. Я и котлеты люблю – ну и где котлеты? Вся жизнь здесь, за этим столом.

Ангелы призывают меня к ответу.

Что ты делал сегодня, милый?

Всю жизнь... я работал. По вечерам приходил домой. По телевизору... Но я не смотрю телевизор. Отвечал на телефонные звонки, на кого-то сердился, потом опять работал, писал... Я стал человеком... А также – да, пожалуй – животным.

Что ты делал сегодня, милый?

Ты что, не видишь? У меня салат во рту! Мои зубы крошатся во рту. Мозг плавится от горя и сочится в горло. Где соль, соль где, соль? Мы пожираем нашу жизнь. А еще немного йогурта. Торговая марка под названием Жизнь.

Потом я осторожно протянул руку, раздвинул занавески и заметил месяц в небесной тьме. Другие миры – лучшее утешение. Они смотрели телевизор на Луне. Напоследок я съел апельсин – он был очень сладким, и я повеселел.

И тогда все миры стали моими. Понимаете меня, да? Я пришел вечером домой. Я пришел домой целым и невредимым со всех войн – за добро или зло – и вошел в теплый дом. Там меня ждал накрытый стол, я наелся; светил свет, я поел фруктов. Я даже начал думать, что все, наверное, будет хорошо.

Потом я нажал на кнопку и посмотрел телевизор. Вот тогда мне точно стало хорошо.

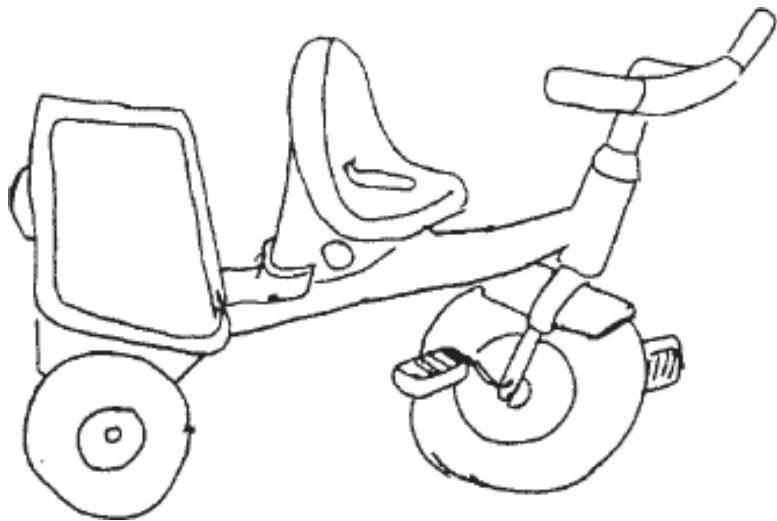
Глава 6

Когда проснешься ночью, в тишине

На столе лежит маленькая уродливая рыбка: широко раскрыла рот, нахмурила брови, страдальчески закатила глаза. Это пепельница в виде рыбы. В огромный раскрытый рот рыбы стряхивают пепел. Наверное, рыбка так бьется потому, что ей в рот то и дело впихивают сигарету. А между тем – ш-ш-ш... – пепел падает рыбе в рот, но тому, кто курит, до этого нет дела, потому что с ним такого никогда не случится. Кто-то сделал фарфоровую пепельницу в виде рыбы, и сигареты будут жечь бедную рыбу долгие годы, рот у нее открыт достаточно широко – чтобы внутрь запросто попадал не только грязный пепел, но и сигареты, спички и другой мусор.

Сейчас рыба лежит на столе, но в комнате никого нет. Войдя и увидев рот рыбы, я заметил, что пепельница замерла в ожидании, страдая в ночной тишине уже несколько часов. Я не курю и не буду ее беспокоить, но я знаю, что скоро я забуду о несчастной рыбе – когда буду беззвучно идти босиком по ночному, темному дому.





На ковре стоит детский трехколесный велосипед; колеса и седло синие, багажник и брызговик над передним колесом – красные. Брызговик, конечно, сделан для красоты: велосипед-то предназначен для маленьких детей – чтобы они медленно катались по дому, где нет грязи. Но все-таки брызговик придает велосипеду некую целостность и законченность. Он будто скрывает недостатки «трехколесника», делает его старше и взрослее на вид и, приближая его к образу обычного взрослого велосипеда, придает серьезность. Но когда я посмотрел на «трехколесник» в ночной, неподвижной тишине еще раз, я сразу увидел то, что привлекает меня к детскому велосипеду и делает возможным наш контакт и с обыч-

ными велосипедами, и с трехколесными: руль. Из-за руля велосипед напоминает мне какое-то животное. Руль – это голова велосипеда, лоб, рога. Чтобы составить впечатление о велосипеде, я всегда смотрю на руль – так я смотрю в лицо человеку, которого встречаю впервые. Этот коренастый крошка-велосипед склонил голову; повернулся чуть вбок – как все грустные велосипеды. У него нет особых надежд на будущее, как у всех печальных созданий. И все-таки в его форме, в том, как он стоит на ковре, ощущается спокойствие, которое прогоняет печаль.

В тишине я иду на темную кухню. В холодильнике много фигур и света – как и на бульварах далеких счастливых городов.

Я взял пиво, сел за пустой обеденный стол и торжественно его выпил. Там, в ночной тьме, со стола на меня смотрела прозрачная пластмассовая мельничка для перца.

Глава 7

Как вы можете спать – ведь вещи разговаривают!

Иногда, когда я просыпаюсь ночью, я никак не могу понять, почему линолеум на полу так выглядит. На каждой клеточке по несколько линий. Почему? И все плиточки линолеума отличаются друг от друга.

Аналогичная история со змеевиком батареи. Кажется, он извивается, потому что ему этого хочется, он словно говорит: «Мне скучно, я хочу побыть чем-то другим».

Лампа тоже странно выглядит. Если не видеть саму лампочку, то кажется, что на самом деле свет излучают ее цинковая ножка и атласный абажур. Видели, как у человека лицо светится? Примерно так. Я знаю, с вами иногда это тоже бывает: представьте, что у меня в черепе загорелась лампочка, где-то очень глубоко, между глазами и ртом. Как красиво лился бы свет из пор моей кожи! Вам бы понравилось. Свет струится с наших щек и лба, когда вечером вдруг гаснет электричество...

Но вы никогда не признаетесь, что думаете об этом.

Я тоже. Я никогда не говорю.

Что пустые бутылки, оставленные перед дверью, не гармонируют ни друг с другом, ни с миром. Что двери на самом

деле никогда не закрываются и не открываются до конца. И это вселяет надежду.

Что всю ночь, до утра, нарисованные на покрывале кресла улитки бормочут: «Мы извиваемся как можем, а нас никто не замечает».

Что где-то совсем близко, прямо под моей ногой или в потолке, странные червячки медленно, как муравьи, гложут бетон и железо.

Что ножницы на столе внезапно начинают двигаться и резать что ни попадя, но эта кровавая драма длится не дольше пятнадцати минут.

Что телефон разговаривает с другим телефоном и поэтому давно молчит.

Я никому не говорю обо всем этом. Раньше меня расстраивало и даже слегка беспокоило то, что я не делюсь ни с кем этими слишком уж реальными видениями: говорить об этом не принято, и именно поэтому все это вижу только я. И я ощущаю ответственность, огромную ответственность, которая вынуждает задуматься, почему великая тайна бытия открыта кому-то одному. Почему пепельница рассказывает одному мне о своих страданиях и боли? Почему задвижка на двери такая грустная? Почему один я думаю, что, открыв дверцу холодильника, попаду в тот же мир, каким он был двадцать лет назад? Почему я должен слушать в этот час крики чаек и их малышей-птенцов?

Вы когда-нибудь смотрели на бахрому ковров?

На знаки, скрытые в их узорах?

Разве можно спать, когда в мире вокруг столько странно-стей и знаков? Я пытаюсь успокоиться, говорю себе, что многие люди замечают эти знаки. Скоро, когда я усну, я тоже стану частью какой-нибудь истории.

Глава 8

С тех пор, как я бросил курить

С тех пор, как я бросил курить, прошло 272 дня. Похоже, я уже привык и не мучаюсь, как раньше, — иногда мне казалось, что я лишился какой-то части тела. Нет, мне по-прежнему чего-то не хватает, нет какой-то составляющей, очень важной, и нет ощущения целостности. Сейчас я уже привык к этому состоянию; точнее говоря, уже смирился с горькой реальностью.

Я больше никогда в жизни не буду курить.

Я говорю это себе, а потом опять представляю, что курю. Живут же в нас потаенные, постыдные желания, которые мы скрываем даже от себя... И вот, представив, что я курю, я внезапно вдруг замечаю, что опять счастлив так, будто только что и правда покурил.

Вот главная функция сигарет в моей жизни: они помогают мне видеть удовольствие и боль, желание и поражение, горе и радость, настоящее и будущее; и среди череды медленно мелькающих кадров я нахожу новые дороги и короткие пути. Если вдруг эта возможность исчезает, я чувствую себя голым. Беспомощным и безоружным.

Однажды я сел в такси — водитель курил, в салоне чудесно пахло дымом. Я стал вдыхать дым.

— Извините, — сказал водитель и хотел открыть окно.

– Нет, – сказал я. – Не открывайте. Я только что бросил курить.

Сейчас я реже ощущаю, что мне чего-то не хватает, но это чувство не исчезло, а стало гораздо глубже.

Иногда я вдруг вспоминаю, что я – другой человек, которого просто заставили забыть себя, обманули, пригрозив лекарствами и смертью. Я хочу быть тем человеком, тем прежним Орханом-курильщиком, – ему лучше удавалось сражаться с шайтаном.

Проблема не в том, что мне хочется покурить, когда я вспоминаю прежнего себя. Я больше не чувствую химической зависимости, как раньше. Я скучаю по прежнему самоощущению, как по старому любимому другу, и больше всего мне хочется вернуться к прежнему себе. Меня вынудили стать другим человеком, вынудили надеть одежду, которая мне не нравится. Если бы я курил, я опять смог бы почувствовать глубину ночи и глубину себя.

Когда я мечтаю стать прежним, я вспоминаю, что в те дни у меня была смутная надежда на бессмертие. В те дни и время не текло: когда я курил, я иногда чувствовал себя таким счастливым или несчастным, а мир казался вечным. Я весело курил сигарету, а мир оставался неизменным.

Потом я начал бояться смерти. Тот курильщик мог в любой момент умереть; газеты писали о смерти от курения весьма убедительно. Чтобы не умереть, мне надо было избавиться от курильщика и заменить его кем-то другим. Что

мне с успехом удалось. И теперь тот покинутый я, объединив усилия с шайтаном, манил меня в те дни, где время застыло и никто не умирал.

Этот призыв не пугает меня.

Если ты доволен тем, что пишешь, можно забыть о любом горе.

Глава 9

Чайка под дождем

О чайке на крыше перед окном моей рабочей квартиры

Чайка как ни в чем не бывало стоит на крыше под дождем. Словно дождя нет. Стоит себе неподвижно, как обычно. А может быть, чайка – великий философ и на дождь внимания не обращает. Так и стоит. На крыше. Дождь льет. А чайка стоит и, наверное, думает так: «Я знаю, знаю, что дождь идет; но ничего не поделаешь». Или: «Да, дождь идет, но какая разница?» Или, может быть, так: «Я привыкла к дождю, мне все равно».

Я не говорю, что они очень стойкие, эти чайки. Я вижу их, когда смотрю в окно, когда пытаюсь что-нибудь написать, когда шагаю по комнате; даже чаек иногда тревожит что-то, что не имеет никакого отношения к их жизни.

У одной из них появились птенцы. Серенькие комочки пуха, они пищат, два испуганных и растерянных малыша. Они решаются сделать несколько шагов по когда-то красной, а теперь побелевшей от испражнений их и их матери черепице, а потом останавливаются и отдыхают. На самом деле отдыхом это назвать нельзя: они просто стоят. Просто существуют, и ничего больше. Большинство чаек, как, впрочем, и люди, и

другие живые существа, часто просто стоят. Это можно назвать своего рода ожиданием. Стоять на месте, ожидая предстоящую еду, смерть, сон. Я не знаю, как они умирают.

Стоять ровно птенцы тоже не умеют, да и ветер качает их. А они все стоят и стоят. У них за спиной живет город, под ними – двигаются корабли, машины и деревья.

Их встревоженная мать время от времени что-то где-то добывает и приносит птенцам корм. Тогда начинается движение, даже суматоха – бурная деятельность, активность, переполох. Кишки дохлой рыбы, похожие на макароны, – давай-давай, тяни! – разделяют и съедают. После еды – тишина. Чайки стоят на крыше. Просто стоят. Мы ждем вместе. На небе – свинцовые тучи.

Но есть кое-что, что скрыто от моих глаз. Я внезапно почувствовал это, когда ходил взад-вперед перед окном: ведь жизнь чаек не проста. Как их много! Чайки стоят на каждой крыше, предрекая горе, и думают о чем-то. Задумывают что-то коварное, как мне кажется.

Как я это понял? Однажды я заметил, что они смотрят на желтоватый свет на горизонте. И вдруг налетел ветер, потом пошел желтый дождь. Во время дождя сотни чаек развернулись ко мне задницами – перекрикиваясь между собой, они явно чего-то ждали. Внизу, в городе, бежали люди, пытались спрятаться в домах и машинах, а наверху неподвижно, молча стояли чайки и ждали. Тогда я подумал, что понял их.

Иногда чайки стаяй медленно взмывают в небо. И шум их

крыльев напоминает шум дождя.

Глава 10

Чайка умирает на берегу

Это рассказ о другой чайке

Чайка умирает на берегу. В одиночестве. Уронила клюв на гальку. Глаза печальные и больные. Волны бьются о скалы. Ветер раздувает ее длинные перья – они уже мертвы. Какое-то время глаза чайки следят за мной. Раннее утро, дует прохладный ветер. Наверху продолжается жизнь, в небе кружат другие чайки. Умирает птенец.

Увидев меня, чайка пытается встать. Она беспомощно перебирает ногами. Тельце поднимается, клюв – нет. В ее глазах появляется нечто осмысленное. А тело умирает, оседая на гальку. Глаза стекленеют, тонут в забвении. Никаких сомнений. Чайка умирает.

Я не знаю, почему она умирает. Перья у нее растрепаны. Каждый год в это время я уже вижу множество родившихся или подросших птенцов чаек, которые пытаются летать. Вчера один весело летел над самой водой, сопротивляясь ветру и волнам, смело вычерчивая в воздухе бесконечные круги, – так чайки учатся летать. А у этого птенца – я только потом заметил – сломано крыло. И вообще кажется, что сломано не крыло, а все тело.

Наверное, тяжело умирать в прохладе летнего утра, когда

над тобой весело и яростно кричат другие чайки. Мне кажется, что птенец не умирает, он защищается от жизни. Может, он что-то чувствовал, а может, чего-то хотел, но ему не повезло. О чем думает чайка, что она чувствует? Вокруг глаз у нее – печаль, как у стариков, готовых к смерти. Умереть – все равно что внезапно забраться под одеяло. Словно сказать: пусть все будет как будет, я хочу уйти.

И все-таки я радовался, что я рядом с ней, в отличие от бесстыдных чаек в небе. Я пришел на этот пустынный берег моря искупаться; я тороплюсь, я задумчив, у меня в руке полотенце. И вот я стою и смотрю на чайку. Молча, с уважением. В гальке под босыми ногами притаился целый мир. О смерти чайки мне говорит не сломанное крыло, о смерти говорят ее глаза.

Она уже многое повидала, многое замечала, извела. И за несколько месяцев она устала, как устает от жизни старик, и она этим расстроена. Она медленно уходит. Я не уверен, но мне казалось, что чайки в небе кричат из-за нее. Наверное, шум моря делает смерть легче.

Позднее, шесть часов спустя, когда я вернулся на галечный пляж, чайка уже умерла. Развернула крыло, будто собираясь взлететь, повернулась набок и, открыв глаз, смотрит пустым взглядом на солнце. В небе не было ни одной чайки.

Я как ни в чем не бывало побежал в прохладную воду.

Глава 11

Быть счастливым

Стыдно ли быть счастливым? Я часто об этом думал. И сейчас часто об этом думаю. И даже часто говорю, что тот, кто умеет быть счастливым, – человек злой или глупый. Но иногда я думаю и так: «Нет, быть счастливым – не стыдно, это проявление ума».

Когда мы с моей четырехлетней дочерью Рюйёй идем на море, я превращаюсь в счастливейшего человека на земле. Что больше всего хочет счастливый человек на земле? Естественно, и дальше быть счастливейшим человеком на земле. И поэтому он знает, насколько важно всегда следовать раз и навсегда заведенному ритуалу. И мы всегда следуем.

1. Сначала я ей говорю: «Сегодня мы во столько-то пойдем на море». А потом Рюйя пытается ускорить события. Но представления о времени у нее своеобразные. Например, она внезапно подходит ко мне и говорит:

– Еще не пора?

– Нет.

– А через пять минут будет пора?

– Нет, пора будет через два с половиной часа.

Через пять минут она может опять подойти и с невинным видом спросить:

– Папа, а мы сейчас на море идем?

А еще она может внезапно, чтобы обмануть меня, спросить уверенно:

– Ну что, идем?

2. А потом наконец наступает время, которое, казалось, не наступит никогда. Рюйя, надев купальник, усаживается в четырехколесную коляску марки «Сафа». Я ставлю ей на колени корзинку с полотенцами и плавками и привычным движением качу коляску к пляжу.

3. Когда мы спускаемся к берегу по вымощенной плитками лесенке, Рюйя кричит: «Аааа!» Коляска подсакивает на ступеньках, и ее крик звучит как «Аа-аа-аа!». Камни заставляют Рюйю петь! Мы оба слушаем и смеемся.

4. Внизу, в конце тропинки, маленький безлюдный пляж. Всякий раз, когда я оставляю коляску у лестницы, ведущей к пляжу, Рюйя говорит: «Здесь воров не бывает».

5. Мы, быстро сняв с себя одежду и разбросав ее по камням, заходим в воду по колено. И тогда я говорю:

– Смотри плавай здесь и глубже не заходи. Я поплаваю и вернусь, будем играть. Хорошо?

– Хорошо.

6. Я плыву на глубину, оставляя мысли позади. Потом, остановившись, я оборачиваюсь к берегу посмотреть на Рюйю, которая в своем купальнике выглядит издалика красным пятном, и думаю, как я сильно люблю ее. Мне хочется смеяться – здесь, посреди моря. Она плещется у бере-

га.

7. Я возвращаюсь. Когда я выхожу на берег, мы начинаем: а) лягаться; б) брызгаться; в) пускать фонтан изо рта (папа); г) изображать, что плывем; д) кидать в море камни; е) разговаривать с говорящей пещерой; ж) учиться плавать – давай плыви, не трусь, – так мы веселимся и играем в игры, в которые мы уже играли и будем играть.

8. «У тебя губы посинели, ты замерзла». – «Нет, не замерзла». – «Замерзла, выходим». Этот спор продолжается какое-то время, потом аргументы иссякают, и мы выходим, и тогда я вытираю Рюю и переодеваю ей купальник...

9. Она вдруг вырывается у меня из рук и с хохотом бежит голая по пустому пляжу. Я пытаюсь бежать за ней по камням босиком, но начинаю хромать, а голенькая Рюя хохочет еще громче. «Сейчас вот надену ботинки и поймаю тебя», – говорю я. И пока она кричит и хохочет, делаю то, что сказал.

10. На обратном пути, когда я толкаю коляску Рюи, мы оба чувствуем себя усталыми и довольными. Мы думаем о жизни, о море позади нас и молчим.

Глава 12

Мои часы

Свои первые часы я начал носить в 1965 году, когда мне было двенадцать лет. Потом, в 1970 году, я перестал ими пользоваться, они совсем состарились. Они были какой-то неизвестной, простой марки. В 1970 году я купил «Омегу» и пользовался ими до 1983 года. Сейчас у меня третьи часы, «Омега». Они не очень старые; их купила мне жена в конце 1983 года, через несколько месяцев после выхода «Дома тишины».

Часы для меня – часть тела. Когда я пишу, они лежат передо мной на столе, и я немного нервно поглядываю на них. Когда я снимаю их и кладу перед собой на стол, я чувствую себя как человек, который снимает рубашку перед игрой в футбол, как боксер, готовящийся к бою, особенно когда прихожу с улицы. Для меня это жест, символизирующий подготовку к борьбе. Мне нравится надевать часы, когда я ухожу из дома, особенно если удалось хорошо поработать пять-шесть часов, – это придает мне ощущение успеха. Я быстро встаю из-за стола и, положив ключи и деньги в карман, выхожу из дома – часы надеваю не сразу, держу в руке; я надеваю их, когда уже иду по тротуару. Я получаю огромное удовольствие. Мне кажется, что я одержал победу и борьба закончена.

Я никогда не говорил себе: «Как быстро пролетело время!»

Я смотрю на циферблат часов, и мне кажется, будто часовая и минутная стрелки прибыли туда, куда должны были прийти, но я не воспринимаю это как ход времени. Вот почему я никогда не буду пользоваться электронными часами, они показывают ход времени, его частицу. А между тем циферблат часов – это загадочный рисунок. Мне нравится на него смотреть. Он – само время; он создает в воображении некий метафизический образ.

Мои самые лучшие часы – самые старые, к которым я больше всего привык. Я привязан к своим часам, как к любимой вещи.

Это метафизическое влечение, это очарование часами я пережил в годы учебы в средней школе, когда впервые надел их. Но позднее часы стали ассоциироваться у меня со звонком с урока, так продолжалось много лет.

Я всегда полон оптимизма относительно времени. Обычно, если я знаю, что на какое-то дело мне требуется двенадцать минут, я делаю его за девять. А если требуется двадцать три минуты, я сделаю все за семнадцать. В случае неудачи я все равно не расстраиваюсь.

Когда я ложусь спать, я снимаю часы и кладу где-нибудь рядом. Первое, что я делаю, проснувшись, – я протягиваю руку и смотрю на часы. Мои часы – мой очень близкий друг. Мне даже не хочется менять потрепанный ремешок – в него

впитался запах моей кожи.

Раньше я начинал писать около полудня и работал до вечера. Но лучше всего мне работалось между одиннадцатью вечера и четырьмя часами утра. В четыре я ложился спать.

Пока не родилась моя дочь, я работал по ночам, до утра. Пока все спали, циферблат моих часов наблюдал за мной. А потом этот порядок изменился. С 1996 года у меня появилась привычка вставать в пять часов утра и работать два часа. Потом я будил жену и дочку и, позавтракав с ними, отводил дочку в школу.

Глава 13

Я не пойду в школу

Я не пойду в школу. Потому что очень хочу спать. Мне холодно. В школе я никому не нравлюсь.

Я не пойду в школу. Потому что там два мальчика. Старше меня. Сильнее меня. Когда я прохожу мимо них, они вытягивают руки и не дают мне пройти. Я боюсь.



Я боюсь. Я не пойду в школу. В школе время останавливается. Все остается на улице. За дверями школы.

Например, моя комната. Мама, папа, мои игрушки, птицы

на балконе. Когда в школе я думаю о них, мне хочется плакать. Я смотрю из окна на улицу. Там облака на небе.

Я не пойду в школу. Потому что мне там все не нравится.

На днях я нарисовала дерево. Учительница сказала: «Настоящее дерево, молодец». Нарисовала еще одно. У него не было листьев.

А потом пришел один из этих мальчишек и стал надо мной смеяться.

Я не пойду в школу. Когда я вечером ложусь спать и думаю, что на следующий день пойду в школу, мне становится очень грустно. Я говорю: «Я не пойду в школу». А мне отвечают: «Разве можно так говорить? Все ходят в школу».

Все? Тогда пусть все и идут. Подумаешь, что случится, если я останусь дома? Я и так вчера уже ходила. А может, и завтра не пойду, пойду послезавтра.

Вот была бы я дома, в кровати. Или у себя в комнате. Одна. Была бы я где-нибудь, только не в школе.

Я не пойду в школу, я заболела. Разве вы не видите? Меня тошнит от слова «школа», у меня живот болит. Я даже молоко выпить не могу.

Я не буду пить молоко, не буду ничего есть и в школу не пойду. Мне очень грустно. Меня никто не любит. В школе те два мальчика. Вытягивают руки и не дают мне пройти.

Я пошла к учительнице. Учительница сказала: «Почему ты за мной ходишь?» Я тебе скажу кое-что, только ты не сердись. Я всегда хожу следом за учительницей, а она всегда го-

ворит: «Перестань за мной ходить».

Я больше не пойду в школу. Почему? Потому что я не хочу идти в школу.

И во двор не хочу выходить на перемене. Перемена начинается именно тогда, когда про меня все забывают. Тогда начинается тарарам, все начинают бегать.

Учительница сердито смотрит на меня, она почти всегда так на меня смотрит. Я не хочу идти в школу. Только один мальчик, который в меня влюблен, хорошо на меня смотрит. Только ты никому не говори об этом. Но я этого мальчика тоже не люблю.

Я сажусь и сижу. Чувствую себя очень одинокой. По щекам текут слезы. Терпеть не могу школу.

Говорю, я не хочу идти в школу. Потом наступает утро, и меня отводят в школу. Я не могу даже улыбнуться, смотрю перед собой, мне хочется плакать. Я шагаю по улице с огромным рюкзаком за спиной, как солдат, смотрю на свои маленькие ноги, поднимающиеся на холм. Все такое тяжелое: рюкзак за спиной, горячее молоко в желудке. Мне хочется плакать.



Я вхожу в школу. Железная калитка школьного сада закрывается за мной. Я плачу: «Мамочка, смотри, ты оставила меня здесь».

Потом вхожу в класс, сажусь. Мне хочется стать облаком на небе.

Ручки, тетради, резинки – пропади оно все пропадом!



Глава 14

Мы с Рюйёй

1. Каждое утро мы идем в школу вместе. Смотрим на часы, на сумку, на дверь, на дорогу... В машине всегда делаем одно и то же. А. Машем рукой собакам в маленьком парке. Б. Подскакиваем, когда такси делает резкий поворот. В. Всегда в одном и том же месте говорим водителю: «Теперь направо и вниз» – и, засмеявшись, переглядываемся. Г. Смеемся, когда говорим: «Теперь направо и вниз», хотя водитель точно знает дорогу, потому что мы всегда садимся на одной и той же стоянке такси. Д. Выйдя из такси, идем, держась за руки.

2. После того как я довожу ее до школы, я, повесив ей сумку на плечо и поцеловав, смотрю ей вслед. А Рюйя знает, что я смотрю ей вслед. Я помню наизусть ее походку, и мне приятно смотреть, как она идет к школе. Я знаю, что она знает, что я на нее смотрю. И то, что она знает об этом, словно придает нам обоим уверенности. Есть мир, в котором она сейчас идет, который она каждый день для себя открывает, а есть мир, где мы с ней живем вместе. А когда я смотрю на нее и она поворачивается, чтобы посмотреть на меня, мы продолжаем хранить наш мир. Но потом она заворачивает за угол и входит в другой мир, который мне не виден.

3. Позвольте мне немного похвастаться: моя дочь умна и знает, что ей нравится. Она, ни минуты не сомневаясь, уве-

ренно говорит, что я рассказываю самые лучшие сказки, и утром по выходным ложится рядом со мной, требуя рассказать ей что-нибудь. Она волевая и поэтому знает, чего хочет: «Пусть опять будет ведьма, она должна сбежать из темницы, но не должна ослепнуть и состариться, а в конце она не должна поймать маленького мальчика». Она просит, чтобы я помедленнее рассказывал ту часть, которая ей понравилась. Она откровенно говорит мне, пока я рассказываю, что ей нравится, а что – нет. Поэтому я чувствую, что, рассказывая ей сказки, я пишу их и одновременно читаю написанное глазами ребенка.

4. Как и любые близкие, нежные отношения, наши отношения – это еще и борьба за власть. Кто будет решать: А. Какой канал по телевизору смотреть. Б. Когда ложиться спать. В. В какую игру играть или не играть никогда, что выбрать, а также как, после долгих политических переговоров, разрешатся все споры, ссоры, обманы, милое жульничество, истерики со слезами, упреками, плохим настроением, примирениями и раскаянием. Все эти действия утомляют нас, но делают счастливыми и в конце концов накапливаются, составляя историю наших отношений, нашей дружбы. И мы договариваемся, потому что не собираемся отказываться друг от друга. Мы будем думать друг о друге, а в разлуке будем вспоминать запах друг друга. Когда ее нет, я ужасно скучаю по запаху ее волос. А когда я в отъезде, она нюхает мою пижаму.

Глава 15

Когда Рюйе грустно

Знаешь что, милая моя? Когда ты грустишь, я тоже грущу. Я чувствую, что где-то во мне, не важно где, зародился некий инстинкт: когда я вижу тебя грустной, я тоже начинаю грустить. Как будто внутри заложена программа, она велит мне: КОГДА УВИДИШЬ РЮЙЮ ГРУСТНОЙ, НАЧИНАЙ ГРУСТИТЬ.

Так что и я без всяких причин, ни с того ни с сего, тоже начинаю грустить. А я ведь собирался пошарить в холодильнике, в газете, в голове, в волосах.

Пытаюсь поймать образ... эта жизнь... как вдруг – стоп! Смотрю: Рюйя свернулась на диване с мрачным лицом и лежит, поглядывая краем глаза на мир и на своего отца, который поглядывает, как она смотрит на мир.

В одной руке у нее синий заяц.

Другая рука засунута под щеку вместо подушки.

Я все-таки пошел на кухню порыться в ящиках холодильника и у себя в голове. Интересно, что могло случиться? Живот у нее болит, что ли? А может, она постигает прелесть печали. Ну и пусть грустит, пусть познает свой запах и свое одиночество. Умение быть несчастным среди счастливых – первый признак ума. Скорее даже не ума, а проницательности. Я раньше так думал. Мне нравятся слова Борхеса: «Я,

конечно, насколько это возможно, как и все молодые люди, стараюсь быть несчастным». Хорошо, только она не «молода», она еще ребенок.

Молчание.

Я открываю холодильник, беру огромное ярко-красное переспелое яблоко и кусаю его изо всех сил. Выхожу из кухни. Лежит, как лежала. Я задумался.



Подойди к ней медленно. Скажи: «Пойдем поиграем в кости! Где коробка?» Найдите вместе коробку, а когда будешь открывать крышку, спросите друг у друга: каким цветом будешь играть? Я – зеленым. Хорошо, а я тогда красным. По-

том брось кости, посчитай, сколько выпало, сделай так, чтобы она выиграла. Если ей понравится и она немного развежится, она весело скажет:

– А я тебя обыгрываю!

Обыгрывай меня. Выигрывай всегда.

Но иногда мне это надоедает, я думаю: надо и мне выиграть хотя бы разочек, пусть девочка узнает, что такое поражение.

Не получается. Она разбрасывает кости. Портит всю игру. Садится в углу, надувшись.

Может, поиграть в «Не касайся пола»? Ты можешь шагать со столов на стулья, со стульев на кресла, на диван, на другой стол, на батарею. Можешь наступать везде, но, если я тебя запятнаю, когда коснешься пола, ты будешь водить. Только не прыгай слишком далеко.

Лучше всего побегать. По дому, вокруг столов, из комнаты в комнату, вокруг стульев, пока телевизор рассказывает о недавних происшествиях, военных переворотах, восстаниях, долларе, бирже и конкурсах красоты; смотрите на нас, смотрите, как мы бегаем и не обращаем внимания на вас и вашу ерунду. Мы бегаем как сумасшедшие, переворачивая журнальные столики и роняя лампы, круша замки из кип старых газет, купонов и картона, потя, бегаем с криками, но почему мы кричим, мы сами не знаем; мы бегаем как сумасшедшие, иногда стаскивая с себя одежду. Знали бы вы, как мы быстро бегаем по пакетам с шоколадом,

книжкам-раскраскам, сломанным игрушкам, бутылкам с водой, старым газетам, разбросанным полиэтиленовым пакетам, тапкам, коробкам.

Но и этого я не стал делать.

Я сел в сторонке и стал смотреть на цвет пыли, беззвучно оседающей на шумный город. Телевизор был включен, но звука не было. По крыше медленно шагала одна из неугомонных чаек. Это я понял по легкому стуку. Мы оба молчали и долго смотрели в окно — я сидя в кресле, а Рюйя лежа на диване, — мы подумали — она с грустью, а я с радостью, — как же прекрасно существовать в этом мире.

Глава 16

Пейзаж

Я собирался поговорить о мире, о том, из чего он состоит.

Почему я начинаю рассказывать все это, я не знаю. Однажды в жаркий день мы были с моей пятилетней дочерью Рюйёй на Хейбели-ада и поехали покататься на повозке. Я сел спиной, а дочка – напротив меня. Лицом по ходу движения. Мы проехали мимо садов с цветами и деревьями, низких заборов, деревянных домов, огородов. Пока повозка под цокот лошадиных копыт, покачиваясь, медленно ехала вперед, я смотрел на лицо пятилетней дочери, пытаюсь разглядеть на нем отражение увиденного ею мира.

Вещи: дома, деревья, заборы, афиши, объявления, улицы, кошки. Асфальт. Жара. Ужасная жара.

Потом начался подъем в гору, лошади, напрягаясь, зафыркали, возничий подстегнул их кнутом. Повозка поехала медленнее. Я посмотрел на какой-то дом. Мир словно проплывал перед нами, мы с дочкой видели одно и то же. Мы видели все: лист, мусорный бачок, мяч, лошадь, ребенка, дом, велосипед, зелень листа, красный цвет мусорного бачка, прыжки мяча, взгляды лошади, лицо ребенка. Потом все уходило; на самом деле мы ничего не рассматривали; взгляд наш ни на чем не задерживался. Мы не смотрели по-настоящему на составляющие этого жаркого послеполуденного ми-

ра. Он медленно проплывал мимо нас, расплавляясь и испаряясь на наших глазах. И мы впали в забытие! Мы смотрим, но не видим. Мир окрашен в цвет жары, мы видим этот цвет своим сознанием.

Мы проехали лес, но в нем не было прохлады. Казалось, он излучает жар. По мере того как подъем становился круче, лошади замедляли ход. Мы слушали пение цикад. Повозка ехала очень медленно, дорога, казалось, вот-вот исчезнет между соснами, как вдруг мы увидели пейзаж.

– Тпру, – сказал возничий, остановив лошадей. – Пусть отдохнут.

Мы посмотрели на пейзаж... Мы оказались на краю пропасти. Внизу – скалы, море; острова в дымке. Какими красивыми были синее море и слепящее солнце, отражавшееся в нем: гармония, сияние и безукоризненная чистота. Мы увидели совершенный мир. Мы с Рюйёй молча любовались им.

Возница закурил сигарету, запахло табаком.

Почему мир казался таким красивым? Наверное, потому, что мы видели все. Наверное, потому, что погибли бы, если бы мы упали в пропасть. Наверное, потому, что издалека все кажется красивым. Наверное, потому, что мы никогда не видели его с такой высоты. Так что же мы делаем здесь, в этом мире?

– Красиво? – спросил я Рюйю. – А почему красиво?

– Если мы упадем отсюда, то умрем?

– Да, умрем.

Мгновение она со страхом смотрела в пропасть. А потом ей стало скучно. Пропадь, скалы: они незыблемы и неподвижны. Скучно. Появилась собака! «Собака», – сказали мы хором. Она махала хвостом, она двигалась. Мы повернулись и стали смотреть на нее. Пейзаж нас больше не интересовал.

Глава 17

Что мне известно о собаках

На прошлой неделе я и моя пятилетняя дочь Рюйя отправились жарким днем покататься по острову Хейбели на повозке. Я уже рассказывал об этом. А потом – помните! – повозка остановилась на краю пропасти, мы любовались пейзажем, и вдруг пришла собака. Самая обычная собака, грязно-коричневого цвета. Она махала хвостом. У нее были печальные глаза. Она не стала нас обнюхивать, как обычно делают все любопытные собаки. Она словно пыталась изучать нас, глядя на нас унылыми глазами. А когда изучила, то засунула мокрый нос в повозку.

Рюйя испугалась. Поджала ноги, смотрит на меня.

– Не бойся, – прошептал я и пересел к Рюйе.

Собака отошла. Мы оба внимательно смотрели на нее. Четырехногое существо. Интересно, каково это – быть собакой? Я закрыл глаза. Но вместо того чтобы представить, каково это – быть собакой, я начал вспоминать, что мне известно о собаках.

1. Недавно приятель-инженер рассказал мне, как продавал каким-то американцам собаку кангальской породы. Собака на фотографии в рекламной брошюре, которую он тогда показал мне, была сильной, красивой и крепкой, подпись же гласила:

«Здравствуйте, я – турецкий кангал. Мой рост примерно столько-то сантиметров, мне столько-то лет, я умею то-то и то-то, а вот моя родословная.

Недавно один мой друг потерялся, но я прошел по запаху шестьсот километров, пока не нашел хозяина запаха. Вот какой я умный и преданный» – и так далее.

2. В турецких и переведенных на турецкий комиксах собаки говорят: «ГАВ!» В иностранных комиксах собаки говорят: «ВУУФ!»

Вот и все, что я смог вспомнить о собаках. За свою жизнь я видел, должно быть, десятки тысяч собак, но почти ничего о них не помнил. Кроме того, конечно, что зубы у них острые и они кусаются.

– Папа, что ты делаешь? – спросила Рюйя. – Не закрывай глаза, мне скучно.

Я открыл глаза.

– Скажи, откуда эта собака? – обратился я к вознице.

– Где собака? – спросил он, и я показал ему.

– Тут недалеко есть свалка, они сюда приходят, – сказал он.

Собака стояла и смотрела на нас, словно понимая, что мы говорим о ней.

– Зимой они голодные – дерутся, разрывают друг друга на куски.

Наступило долгое молчание.

– Папа, мне скучно, – сказала Рюйя.

– Поехали, – сказал я.

Когда повозка тронулась, Рюйя засмотрелась на деревья, море и дорогу и забыла обо мне. Тогда я опять закрыл глаза и в последний раз попытался вспомнить, что я знаю о собаках.

3. Однажды у меня была любимая собака. Если она долго не видела меня, то потом так радовалась, что даже писалась от радости, катаясь по земле и ожидая, что я почешу ей живот. Потом ее отравили, она умерла.

4. Собаку легко нарисовать.

5. В квартале, где живет один мой приятель, была собака, которая злобно лаяла на бедных прохожих, а богатых пропускала без звука.

6. Меня пугает звон цепи, которую собака волочит по земле. Наверное, это связано с какими-то плохими воспоминаниями.

7. Собака, которую мы только что видели, не пошла за нами.

Потом я открыл глаза и подумал вот о чем: значит, на самом деле человек мало что помнит. Я видел десятки тысяч собак, и тогда, когда я смотрел на них, они казались мне красивыми. Мир мы воспринимаем точно так же. Он здесь, он всюду; он перед нами. А когда он исчезает, он превращается для нас в ничто.

8. Спустя два года после того, как я написал и опубликовал эту статью в журнале, в стамбульском парке «Мачка» на меня напала стая собак. Они меня покусали. В больнице

Султанахмед мне сделали пять уколов от бешенства.

Глава 18

О поэтическом правосудии

Когда я был маленьким, один мальчик, мой ровесник, по имени Хасан, выстрелив из рогатки, попал мне камнем под глаз и поранил меня. Много лет спустя другой Хасан спросил меня, почему во всех моих романах Хасаны непременно плохие, и я вспомнил Хасана моего детства. У нас в школе был очень толстый мальчик, который под любым предлогом издевался надо мной на переменах. Когда много лет спустя мне нужно было создать образ неприятного, отталкивающего героя, я писал, что он потеет, как тот огромный толстяк: он был таким толстым, что потел, даже когда просто стоял на месте, и капельки влаги скапливались у него на лбу и вокруг рта, он становился похожим на огромный графин, который только что достали из холодильника.

Когда я был маленьким и ходил с мамой по магазинам, я терпеть не мог мясников в вонючих магазинах, которые часами махали огромными длинными ножами, надев окровавленные передники, и я не мог есть мясо, которое они резали, потому что оно было слишком жирным. В моих книгах мясники – незаконные забойщики скота, замешанные в кровавых и темных делах. А собаки, которые преследуют меня всю жизнь, изображены существами, вызывающими подозрение и раздражение в героях, близких мне по духу.

По аналогичным причинам в моих книгах хорошими людьми не могут быть банкиры, преподаватели, военные и старшие братья. И парикмахеры тоже, потому что, когда я был очень маленьким, я плакал в парикмахерской – да и сейчас у меня с ними неважные отношения. Так как я в детстве очень любил лошадей, которых видел каждое лето на Хейбели-ада, в моих романах лошади и повозки всегда выглядят достойно. Мои герои-лошади становятся невинными жертвами злых людей. В детстве меня окружали постоянно улыбавшиеся мне добрые, хорошие люди, поэтому в моих книгах очень много хороших людей, но чувство справедливости прежде всего напоминает нам о зле. В умах читателей и посетителей художественных галерей формируется неясное чувство справедливости: от поэтов ожидают, что они в той или иной форме будут мстить за зло.

Я тоже пытаюсь мстить, но в большинстве случаев делаю это очень человечно, и читатель этого не замечает. Так как в детских книжках и приключенческих комиксах зло в конце получает по заслугам и герой наказывает злодея со словами: «Этот удар тебе за одно, а второй – за другое...» – я как писатель тоже придумал нечто похожее: вот я строчка за строчкой читаю злому Хасану или мяснику, сколь отвратительные деяния они совершили в моей книге, до тех пор, пока, например, мясник в панике не бросит свой нож, не начнет чистить прилавки и со слезами причитать: «Братец, умоляю, не показывай меня таким ужасным, у меня ведь семья, дети!»

Мсть провоцирует новую мсть: когда два года назад восемь или девять собак напали на меня в парке «Мачка» и начали кусать, я почувствовал, что они читали мои книги и знают, что я их наказал, прибегнув к «поэтическому правосудию», за то, что они бродят стаями, особенно по Стамбулу. Вот в чем опасность «поэтического правосудия»: в погоне за справедливостью можно испортить и книгу, и свою жизнь. Даже если вы отомстите изящно, завуалировав акт возмездия, что, вполне возможно, украсит ваше произведение, всегда найдутся собаки, которые в один прекрасный день загонят мечтательного поэта, подборника справедливости, в укромный уголок и вонзят в него зубы.

Глава 19

После бури

Рано утром после бури я вышел на улицу и увидел, что все изменилось. Я не говорю о сломанных и упавших ветках, желтой листве, засыпавшей грязную улицу. Изменилось нечто глубинное, что сложно увидеть; полчища улиток, внезапно появившихся повсюду с наступлением утра, тревожный запах дождевой воды, пасмурная погода – все казалось признаками необратимых перемен.



Я заглянул в лужу и увидел мокрую грязь – даже земля словно ждала чего-то. Неподалеку виднелись пожелтевшая трава, сломанный папоротник, зеленые листья каких-то растений, покрытые капельками воды, а чайки, медленно кружившие над пропастью справа от меня, показались мне бо-

лее опасными и решительными, чем всегда.

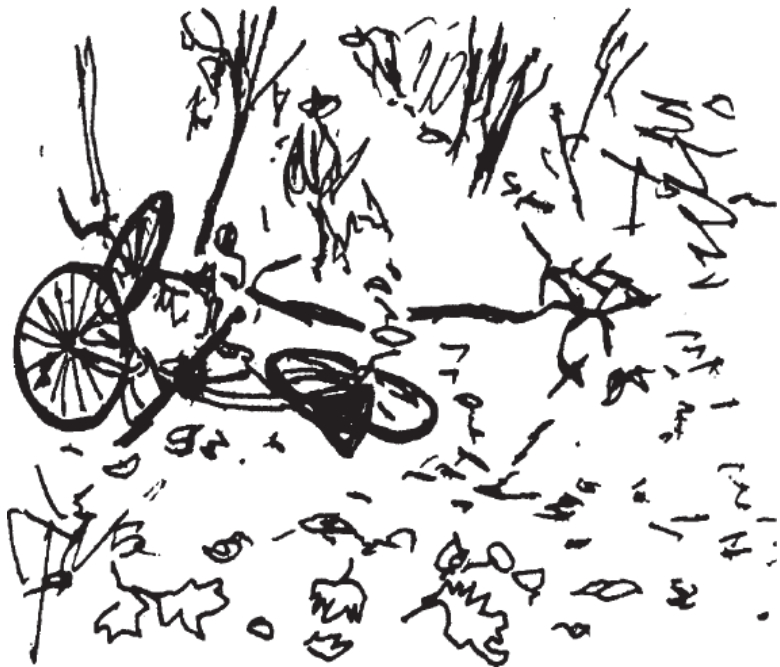
Конечно же, можно предположить, что внезапное похолодание, ветер и озарявший небо яркими вспышками успокаивавшийся ураган – просто обман. Но когда я шел, мне показалось, что птицы и насекомые, деревья и скалы, старый мусорный бачок и покосившийся столб электропередачи – все утратило интерес к жизни. А после полуночи разразилась буря, вернув нам утраченный смысл и забытые надежды.

Стоит ли просыпаться в полночь от стука окна, шума ветра и раскатов грома, чтобы понять истинную глубину жизни, не осмысленность? Как моряк, проснувшийся ночью во время шторма и инстинктивно побежавший проверять паруса, я вскочил с кровати и, еще не до конца проснувшись, закрыл все окна, погасил настольную лампу, а потом пошел на кухню и выпил воды, глядя на кухонную лампу, качавшуюся от сквозняка. Внезапно подул сильный ветер, от которого, кажется, закачался мир и отключилось электричество. Все погрузилось в темноту, а у меня замерзли босые ноги.

Я видел из окна, в просвет между качавшимися соснами и тополями, белизну пены волн, становившихся все выше. Похоже, где-то поблизости молния ударила в море. А потом, на фоне частых вспышек молний, куда-то мчавшихся облаков и качавшихся веток, земля и небо смешались. Я был доволен, что стою среди ночи на кухне с пустым стаканом в руке и наблюдаю за миром из окна.

Утром я пытался понять, что же произошло, – так зевака,

оказавшийся на месте страшной аварии или громкого убийства, внезапно понимает: смерть и катастрофы объединяют нас в нашем общем мире. А потом, глядя на упавшие велосипеды и сломанные ветви, я все-таки подумал: во время таких ураганов мы осознаем свою причастность, свою принадлежность к общей, единой жизни.



Какая-то маленькая птичка, похоже воробей, упала во

время урагана в грязь и теперь умирала – я так и не понял от чего. Пока я хладнокровно и с любопытством рисовал ее в своей тетради, закапал дождь.



Глава 20

Здесь, давно

Однажды, задумчивый и смертельно усталый, я пошел той дорогой. Я не искал ее, я шел бесцельно, мне просто хотелось поскорее дойти – так люди торопятся домой. Я шел и шел, погрузившись в свои мысли, как вдруг поднял голову, огляделся и увидел дорогу, стелившуюся передо мной, лес вдалеке и крышу, видневшуюся среди деревьев; я увидел нежный изгиб дороги, поросль по обочинам и первые опавшие листья.

Мне так понравилось увиденное, что я остановился посреди дороги. Я смотрел на следы велосипедных колес, тянувшиеся передо мной, на темные, тенистые ветви кипариса, росшего неподалеку. Слева от меня – деревья, мягкий поворот дороги, чистое небо – гармония и красота. Потрясающая красота!

Мне вдруг показалось, будто я раньше жил здесь. Между тем я шел здесь впервые. Почему это место показалось мне таким красивым? Этот пейзаж напоминал мою мечту. Как часто я представлял себе все это: изящный изгиб дороги, скромное убежище среди деревьев. Я так часто мечтал об этом, что теперь этот пейзаж казался мне моим воспоминанием, я словно видел его раньше, видел мельком, но запомнил.

Краешком сознания я понимал, что прохожу по этой дороге впервые. Я не собирался когда-либо возвращаться сюда, не собирался слишком долго здесь задерживаться. Обычное место, я просто шел мимо. Я собирался забыть о нем, как мы забываем дороги, по которым пришли. Мне и в голову не приходило думать о нем. У меня были другие дела.

И я продолжал идти дальше. Я хотел забыть о том, что видел. Но я не смог забыть это место.



Вскоре я опять вернулся в шумный город, опять погрузился в повседневную суету, но дорога и то место вернулись ко мне в воспоминаниях. На этот раз воспоминания были настоящими. Тогда красота пейзажа поразила меня, но, к сожалению, я торопился. И сейчас эта красота снова со мной. Теперь она стала моим воспоминанием, частью моего прошлого.

Что привязывает меня к этому месту? Его очарование, вот что; в этом я ничуть не сомневался. И еще, возможно, мой испуг – я испугался этого очарования и ушел. Но то, от чего я убежал, возвращалось ко мне:

1. Когда я был окружен множеством людей, например ужинал в компании, болтая с друзьями и знакомыми. Я злился из-за каких-то мелочей и вдруг внезапно вспоминал о том месте, о той дороге, убегавшей вдаль, о кипарисах и чинарах, о той таинственной крыше и листве на земле. Я не мог забыть эту картину.

2. Когда я ночью просыпался от грома или воя бури или когда по телевизору передавали прогноз погоды на завтра, я внезапно представлял, что там идет дождь, бушует ураган, гремит гром и сверкают молнии. Представьте, как красиво там было бы, когда земля слилась бы с небом, чинара – свидетель моего молчания – раскачивалась бы от порывов ревущего ветра, а первобытную, чистую красоту природы потряс бы ураган! Здесь, вдалеке, я напрасно трачу жизнь на ерунду.

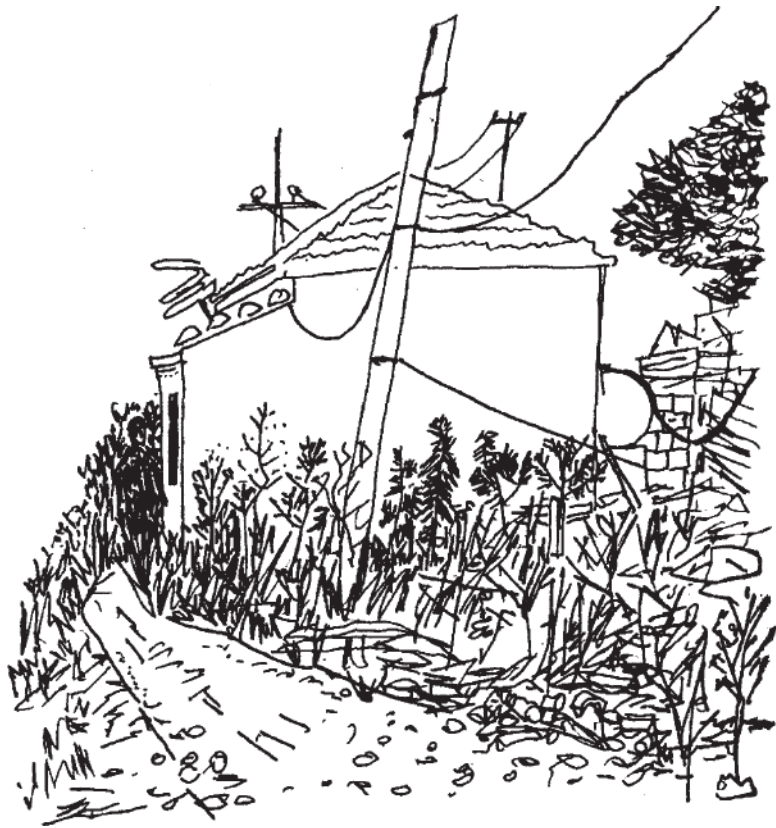
3. Когда я вернусь туда – если вернусь туда, – я остановлюсь, постою и просто подожду, и моя жизнь изменится. Полагаю, через некоторое время я пошел бы дальше, понимая в глубине души, что эта дорога выведет меня к совершенно новому месту. А в этом совершенно новом месте была бы совершенно другая жизнь.

Глава 21

Дом одинокого человека

Это дом человека, у которого никого нет. Он стоит на вершине холма, в конце длинной извивающейся дороги. Дорога, покрытая галькой свинцового цвета, с белыми проплешинами и зелеными островками растений и травы, исчезает, дойдя до вершины холма. Здесь мы останавливаемся передохнуть, ветер несет нам прохладу. Если вы пройдете немного дальше, то дойдете до противоположного склона, обращенного к югу; там ветра нет, очень тепло и ярко светит солнце. Эта часть дороги настолько удалена от исхоженной тропинки, что муравьи построили муравейник прямо посередине. Трудно понять, где дорога, а где – поле.

Смоковницы. Куски пористых кирпичей. Пластиковые бутылки. Куски сгнившей и помутневшей клеенчатой скалки. То жарко, то ветрено. Все это принадлежит одинокому человеку. Должно быть, он собирал их много лет и принес сюда, потому что больше здесь никого не бывает.



Но когда-то он не был одиноким. Сюда он приехал с женой. Говорили, она была хорошей женщиной; дружила с соседями, жителями из домов в долине. Но ни у нее, ни у ее мужа, который впоследствии останется один, не было побли-

зости ни родственников, ни знакомых из родных краев. Оба они были родом из причерноморского города. Говорили, что у одинокого человека там осталась собственность, он был богатым, но, возможно, – об этом говорили с улыбкой – не смог прижиться там, как, впрочем, и здесь, так как со всеми ссорился. Нет. Раньше он не был таким. Однажды его жена попала в больницу. Он стал ходить к ней, в долину. А потом она умерла. Так продолжалось много лет, его жена долго болела. А сейчас он смотрит телевизор, курит, со всеми ссорится и каждое лето работает официантом в ресторане на берегу.

Зачем ему телевизор – ведь из окон его дома открывается прекрасный вид. Здесь можно годами любоваться окрестными горами, ветреным морем с мелкой рябью волн, в которых отражается солнце, кораблями, идущими к городу, островами, людьми на улицах, которые не причинят вреда, потому что они далеко; миниатюрными на вид мечетями, кварталами, исчезающими в утренней дымке тумана, городом. И фантазировать. Фантазировать много лет, так как муниципалитет давно прекратил здесь строительство новых жилых домов.

Большая, сильная чайка издает протяжный крик. Ветер доносит откуда-то снизу звуки мелодии – где-то работает радио.

Его дом – доказательство того, что он привез из родного города немного денег. Так говорят. Черепица на крыше чистая и ровная. Крыша пристройки покрыта новой жестью, а

сверху придавлена камнями, чтобы ее не сдуло ветром. Туалет за домом, который видно с дороги, сложен из брикетных кирпичей; пластмассовый резервуар для воды он поставил позже; среди терновника, кустарника и саженцев сосен стоят стулья, валяются доски и всякий хлам.

Вечером мы стоим на ветру и смотрим на окрестные дома, построенные из черепицы, кирпича, пластмассы и камня, а одинокий человек выходит из своего дома и долгим, тяжелым взглядом смотрит на нас. Он что-то держит в руках, я не вижу что – утюг или, может быть, кружка. И тогда я замечаю, что к его дому тянутся провода, трубы и веревки.

Он входит в дом и исчезает.

Глава 22

Парикмахеры

В 1826 году, после того как османское войско проиграло ряд сражений европейским армиям, а основа армии, янычары, стали сопротивляться любым нововведениям, султан-реформатор Махмуд II напал на казармы янычар в Стамбуле и разбил их наголову. Об этом событии, занимающем важное место не только в истории Стамбула, но и в истории Османской империи, знают все школьники Турции. Теперь принято называть это «благоденственной акцией». Гораздо меньше известно о том, что сия «благоденственная акция», во время которой на улицах города истребили десятки тысяч янычар, заметно изменила общественную и повседневную жизнь Стамбула.

Что касается янычар, то в толкованиях историков, сторонников модернизации, конечно же, есть доля истины: янычарское войско, существовавшее четыре с половиной столетия, состояло в тесных связях не только с орденом Бекташи¹, но и со всеми ремесленниками города. Янычары, имевшие пра-

¹ *Орден Бекташи* – исламский суфийский орден дервишей, основанный в Малой Азии в XV в. Идеологически верования ордена представляют собой смесь разнородных элементов мусульманского и христианского сектантства. Влияние ордена Бекташи в Османской империи было значительным, так как он покровительствовал янычарам. (Здесь и далее примеч. перев.)

во ходить по улицам Стамбула с оружием, иногда выполняли функции современной полиции и жандармерии, при этом почти у всех у них были свои лавки в городе; их воинственность являлась потенциальной угрозой государственным реформам. Махмуд II отправил свое войско прежде всего в кофейни и парикмахерские, принадлежавшие в основном янычарам, а уничтожив непокорных, велел закрыть заведения – так поступали многие османские падишахи, желавшие заставить молчать уличную оппозицию (в особенности Мурат IV, о котором говорили, будто он, переодевшись, ходил ночами по городу). Сегодня мы привыкли к подобным действиям, я, скажем, привык с детства – в Стамбуле власти периодически закрывали газеты. До недавнего времени кофейни и парикмахерские (а еще «долмуши», маршрутные такси времен моего детства) выполняли функцию местных газет, где в первую очередь узнавали новости, небылицы и сплетни, ходившие по городу, муслировали сказки о сопротивлении властям и гневные речи оппозиционеров; где обсуждались официальные заявления государственных и религиозных деятелей, превращавшиеся в сплетни о заговоре, которые мгновенно расходились по кварталам и рынкам, витали у мечетей и у церквей и достигали деревень на берегах Босфора.

В те дни Стамбул мог похвастаться существованием нескольких юмористических журналов, самым выдающимся среди которых был «Акбаба» («Гриф»). Так как толкование журналами городских историй и небылиц являлось вы-

ражением оппозиционных идей, во времена моего детства о них можно было узнать в любой стамбульской парикмахерской. В наши дни тотальное распространение телевидения вытеснило из жизни старые средства массовой информации (сейчас в большинстве парикмахерских постоянно включен телевизор) и обесценило сплетни и антиправительственные разговоры в кофейнях и парикмахерских; поэтому не следует удивляться, что золотой век большинства стамбульских юмористических журналов, объемы продаж которых временами доходили до миллиона экземпляров, закончился. (Много лет спустя, когда я пошел в Нью-Йорке в парикмахерскую, я увидел, что клиентам предлагают не юмористический журнал, а «Плейбой», и был ужасно удивлен.) Что касается журнала «Акбаба», непрямого атрибута парикмахерских времен моего детства, то позднее выяснилось, что его хозяин, Юсуф Зийя Ортач, втайне принимал материальную помощь из частного фонда, контролировавшегося правящей демократической партией и премьер-министром Аднаном Мендересом, но традиция подкупа государством антиправительственных изданий восходит к 1870-м годам, когда султан Абдул-Хамид получил контроль над оппозицией, купив ее печатные органы, и существует до сих пор.

Когда я мальчиком сидел в очереди в парикмахерской и перелистывал страницы журнала «Акбаба», разглядывая карикатуры на граждан, пораженных дороговизной в магазинах, с удовольствием смеялся над анекдотами о начальнике и

секретарше-блондинке и наслаждаясь рассказами популярного юмориста Азиза Несина и карикатурами, позаимствованными из западных журналов, краем уха я всегда слушал разговоры. Конечно же, больше всего говорили о футболе и спортлото. Три мастера-парикмахера, брившие клиентов, обсуждали, кто победит на скачках и в матче боксеров, — они временами делали ставки. Парикмахерская с претенциозным названием «Венера» находилась в самом конце пассажа, напротив нашего дома в Нишанташи. Один из двух пожилых парикмахеров был усталым, угрюмым и седоволосым, другой — нервным и лысым, а третий, лет сорока с лишним, носил тонкие усы, как у известного американского актера Дугласа Фэрбенкса. Я помню, что им было интереснее разговаривать с клиентами о международной политике и о положении дел в мире, нежели о дороговизне, о недавно открывшихся в квартале магазинах, о модных певцах и звездах и о внутренней политике. Больше всего мне нравилось, когда приходил высокопоставленный, образованный, влиятельный клиент, — они начинали разговор со скромных вопросов и фраз вроде «мы, конечно же, не знаем» и, втянув его в беседу, моментально вникали в сферу профессиональных интересов этого человека. Если они слышали что-то вроде: «Это стоит столько-то» или «Те грузовые корабли больше футбольного поля», если им говорили, что известный политик проявил непозволительную слабость или малодушие, они цокали языками или восклицали: «Нет, ну надо

же!» – но всякий раз трещающие, как клювики маленьких птиц, ножницы на мгновение затихали в их руках, а опасная бритва замирала, пока парикмахер и клиент смотрели друг на друга в зеркало.

Если они начинали беседу с клиентом вопросами вроде: «Ну, что новенького?», «Как дела?», «Чаю хотите?» – а он оставался хмурым и молчаливым, они болтали между собой. В этих беседах один из них всегда исполнял роль неудачника, другой служил объектом для постоянных насмешек, а третий работал хитрецом; то, как они подкалывали друг друга (например, кто-нибудь вдруг говорил: «А Мехмет на этой неделе снова пролетел в лото»), напоминало мне перепалки героя турецкого народного театра теней Карагёза и его острой на язык жены Хадживат. Однажды, после того как побрили клиента и сняли с него передник, а он разрешил помощнику парикмахера почистить себя щеткой, раздал чаевые и ушел, мастер с усами а-ля Дуглас Фэрбенкс, который только что очень вежливо и скромно разговаривал с ним, начал ругать его на чем свет стоит, и я со страхом понял, что в мире взрослых живет больше двуличных, злобных людей, чем в моем мире детей. В те времена в парикмахерских пользовались ножницами, огромными машинками для стрижки волос, которые мастера с гневом отбрасывали в сторону, если они плохо стригли, расческами, ватой (ей затыкали уши, чтобы туда не попадали волосы), одеколоном, пудрой, опасной бритвой (только для взрослых), кремом, ки-

сточками для бритья и белыми передниками. Нынче инструменты парикмахеров не очень изменились, если не считать появления нескольких электрических приборов – например, фена, они так же работают и сплетничают во время работы, и это означает, что парикмахеры столетиями говорят об одном и том же, хотя стамбульские писатели никогда не записывали их разговоров.

На миниатюрах XVII века видно, что в то время также пользовались бритвами. Представители гильдии парикмахеров, стремясь показать свое мастерство перед султаном Ахмедом, великолепно брили клиентов на весу, будучи привязанными вверх ногами к потолку демонстрационной повозки. В те дни парикмахеры, чтобы побрить клиента, клали его голову к себе на колени, и благодаря этой традиции родилась классическая любовная история: человек попросил молодого красивого парикмахера сбрить ему волосы, бороду, усы и брови, лишь бы оказаться к нему поближе. Тот же мотив можно обнаружить и в народной истории о Кереме и Аслы, когда влюбленный попросил красивого молодого врача вырвать себе все зубы, лишь бы быть к нему поближе, что свидетельствует о важности и значимости зубоврачебного и парикмахерского искусств тех времен. Парикмахеры выполняли обрезание и несложные хирургические операции, некоторые из них работали в кофейнях, некоторые держали свои парикмахерские, что давало им возможность играть важную роль в жизни стамбульского общества. Но когда я был ма-

леньким, меня больше всего поражало мастерство, с которым парикмахеры вытягивали из клиентов информацию, и то, что они знали все новости раньше газет.

Поэтому, когда я сидел в парикмахерской «Венера», читая журнал «Акбаба», и слышал, что меня зовут в кресло. «Проходите, маленький господин», я чувствовал себя так, будто мне предстоит сесть в кресло зубного врача. Мне было страшно не потому, что иногда бритвенная машинка вырывала клоч волос у меня на затылке или меня иногда укалывали ножницами – у парикмахера мне часто делали больно, – а потому, что я боялся выдать какую-нибудь семейную тайну. Один мой дядя уехал в Америку и не вернулся оттуда. Надев на меня, как осужденному на смертную казнь, белую накидку, меня прежде всего спрашивали о нем: «Когда дядя возвращается из Америки?» – «Не знаю». – «Сколько уже лет прошло, как он уехал?»

«Много, он уже не приедет», – отвечал другой мастер. «Он отслужил в армии?» Наступало молчание, а я со стыдом смотрел перед собой, как будто это я «сбежал» из страны, не отслужив в армии, а перед глазами у меня всплывала бабушка, плачущая во время чтения одного из все реже приходящих дядиных писем, написанных постепенно портившимся турецким языком. Но больше всего я боялся, что парикмахеры выудят из меня другие тайны, которые моей семье, маме и папе, удавалось скрывать и о которых мне не хотелось вспоминать.

Не потому ли я рыдал, впервые в жизни отправляясь к парикмахеру, что предвидел эти страхи и чувствовал, что мне предстоит обливаться потом, — как и теперь, когда я сижу перед журналистом, интересующимся моей личной жизнью? Когда я болел, хмурый седоволосый парикмахер приходил к нам домой стричь меня. На стол стелили газету, сверху ставили табуретку, а на нее сажали меня, так чтобы парикмахеру было удобно меня стричь. Этот угрюмый парикмахер и здесь, вдали от своих дружков-болтунов, продолжал молчать, а так как мне, как и ему, такая стрижка не доставляла никакого удовольствия, то вскоре я снова начал ходить в парикмахерскую. И тогда я понял, что парикмахер, который стрижет вас в абсолютной тишине, не пытается вытянуть из вас ни словечка, не рассуждает на политические темы, не общается квартальных сплетен и никого не ругает, вовсе не парикмахер.

Глава 23

Пожары и развалины

До моего появления на свет наша семья – бабушка, дяди и мама с папой – жила в большом каменном доме; позднее его арендовали под частную начальную школу, а затем снесли. Большой деревянный особняк, где находилась моя начальная школа, сгорел. Моя средняя школа тоже располагалась в старинном особняке, в саду которого мы играли в футбол; он тоже сгорел, а развалины снесли, как снесли множество других жилых домов и лавочек времен моего детства.

История Стамбула – это история пожаров и сносов. С середины XVI века, когда в городе началось строительство деревянных домов, и до первой четверти двадцатого столетия, то есть более трехсот пятидесяти лет, именно пожары – помимо больших мечетей – формировали город и вынуждали прокладывать улицы и проспекты. Во времена моего детства о пожарах говорили часто, и от этого слова веяло несчастьем. Первые этажи строили из камня и кирпича, поэтому всегда оставались обгоревшие, но не обрушившиеся стены, лестницы первого этажа, мрамор с которых сдирали, черепица, цветочные горшки и осколки стекла, а среди этих обломков росли маленькие инжирные деревья, где играли дети.

Я родился позже и не видел пожары и сносы целых кварталов, я видел только, как горели последние оставшиеся де-

ревянные особняки. Пожары случались при загадочных обстоятельствах, в основном среди ночи. Еще до приезда пожарных дети и молодежь из соседних домов собирались в саду пустого дома, где они некогда играли, и, болтая, смотрели на пожар.

– Сожгли красивый особнячок, – говорил дома дядя.

В те времена было запрещено сносить старые особняки и строить на их месте новые многоквартирные дома, которые являлись критерием богатства и современности. Но когда жильцы покидали дом и он постепенно ветшал и становился негодным для жилья, выдавалось разрешение на его снос. Некоторые хозяева специально снимали с крыши черепицу, чтобы пустой особняк быстрее разрушился и сгнил от дождя. Самым быстрым и действенным способом был поджог среди ночи. Рассказывали, что иногда это дело поручали садовнику, оставленному следить за домом и садом. Или дом продавали будущему подрядчику, а поджог устраивали уже его люди.

В нашей семье о богатеях, приказавших среди ночи, тайком, сжечь собственный дом, полный воспоминаний, дом, где некогда жило несколько поколений их семьи, говорили с презрением. Но тем не менее много лет спустя и моя семья продала подрядчику большой трехэтажный дом в стиле ар-деко, где жили вместе бабушка, мои дяди и папа с мамой, позволив безжалостно сжечь его, а на его месте построить уродливый дом на несколько квартир. Позднее отец, пыта-

ясь убедить меня в своей непричастности к сносу старинного дома, всегда рассказывал, как, приехав из Анкары, где мы тогда жили, и увидев, что старый дом сносят ударами чугунных «баб», он стоял перед калиткой и плакал.

Как и во многих старых стамбульских семьях, владевших такими особняками, «переселение в многоквартирный дом» вызывало множество споров и ссор, свидетелем которых я был. На первый взгляд все были против сноса старых домов. Но семейные ссоры и раздоры, частенько заканчивавшиеся судом, в конце концов, не могли ничего изменить – дом сносили, и на его месте строили новый, уродливый дом, который с самого начала никому не нравился. Потом о старом снесенном доме все, конечно, говорили с грустью; однако чувствовалось, что на самом деле каждый втайне этого хотел, мечтая изменить свою жизнь с помощью денег, полученных от сдачи новых квартир в аренду, и решив переложить ответственность за это постыдное дело на других членов семьи.

Население Стамбула быстро увеличилось с одного миллиона до десяти: если посмотреть на город сверху, сразу становится понятно, насколько пусты все эти семейные ссоры и угрызения совести, жадность и чувство вины. Вы бы увидели, что армия бетонных домов, столь же огромная и неодолимая, как армия в «Войне и мире» Толстого, сметает все на своем пути: сады, особняки, деревья; оставляя отметины на асфальте, она приближается к вашему кварталу, где, как вам казалось, вы ведете райскую жизнь вне времени. Глядя на

карту города, вы поймете, что семейные конфликты, споры о том, может ли у человека быть свое мнение, сродни пессимистичным рассуждениям Толстого о роли личности в истории. Если все мы лишь часть безжалостно разрастающегося города, то все, что окружает нас: дома, стены, служившие нам опорой многие годы, воспоминания, все, что мы хотели сохранить, – обречено на гибель.

Последний удар сопротивлявшимся неизбежному нанюсила «конфискация». Когда-то, когда маленькие, узкие улицы Стамбула времен Османской империи исчезали, уступая место проспектам, слово «конфискация» подразумевало «остаться на улице», «несправедливо лишиться дома». За последние пятьдесят лет Стамбул два раза переживал периоды тотальной конфискации во имя строительства дорог и площадей; во время первого мне было шесть или семь лет. Я помню, как в 1950-е годы мама осторожно вела меня за руку по противоположной стороне Золотого Рога, среди пыли и грязи развалин османского Стамбула. Район сносов напоминал город после бомбежки; расчищенные участки всегда порождали надежды, страхи и сплетни. В городе поговаривали, что за некоторые участки выплачиваются более высокие компенсации, так как у их владельцев есть покровители; что некоторые сносы нецелесообразны, что существуют планы новых сносов и какой-то влиятельный политик «по знакомству» спас такую-то улицу. Там, где дороги вдоль Золотого Рога или на берегах Босфора плавно переходили в узкую

улицу, минуя рынок, явно проживали либо состоятельные, либо близкие к властям люди, дома которых не подлежали реконструкции. Народ всегда все замечал: какая-нибудь те-тушка в «долмуше» или дядюшка в парикмахерской говори-ли, что надо еще много чего снести. В желании разрушить старый город угадывалось не столько стремление построить широкие бульвары, как в Париже, сколько ненависть вновь приехавших в Стамбул к старинному городу, его культуре; ненависть ко всему, что было до них; желание Республики забыть о христианском и космополитичном прошлом горо-да, стереть следы Византийской и даже Османской империи. В 1970-е годы, когда турецкая промышленность начала вы-пускать дешевые автомобили для среднего класса, потреб-ность в широких скоростных дорогах предопределила судь-бу прошлого: оно будет похоронено под асфальтом.

У каждого города, как правило, два лица. Первое – внеш-нее, для туристов, для иностранцев, приехавших в город; они смотрят на здания, памятники, проспекты и городские пей-зажи. Второе видно лишь изнутри: комнаты, где мы спим, и классы, где мы учимся; это город, состоящий из запахов, света и цветов, дорогих нам воспоминаний.

В 1980-е годы, во время очередной волны сносов, я слу-чайно оказался на проспекте Тарлабаши и понаблюдал за ра-ботой бульдозеров. Работы шли уже несколько месяцев, по-этому народ особенно не сердился и не возмущался. Накра-пывал дождь, но машины продолжали сносить стены, и пыль

смешивалась с туманом, а мы, зрители, казалось, смотрели не на то, как гибнут чужие дома и воспоминания, мы смотрели, как Стамбул резко и мощно меняет форму, и наша жизнь рядом с его дыханием кажется хрупкой и преходящей. Пока дети собирали между разрушенных стен стекла, обломки дверей и досок, я вдруг осознал, что снос дома напоминает потерю памяти, к которой постепенно привыкаешь, считая ее своим вторым «я».

Много лет назад я зашел в предназначенное к сносу здание, где некогда был лицей Шишли Теракки, – я там учился в начальной и средней школе. Я уже пятьдесят лет хожу по одним и тем же улицам Стамбула, и тогда я вспомнил свои школьные дни и то, как в последний раз я прошел по всем школьным классам. Кажется, я постепенно привыкаю к новой картине, хотя сначала она доставляла мне нестерпимую боль. Города начинают стираться из памяти, когда сносят их дома. Сначала мы забываем многое из того, что помнили; мы понимаем, что мы забыли, и пытаемся вспомнить. А когда мы уже не можем вспомнить это, город забывает себя. Снесенные дома доставляют нам боль и приводят к потере памяти, но, в конце концов, именно они рождают в людях мечты.

Глава 24

Сандвич

Это было холодным январским днем 1964 года. Я стоял на углу площади Таксим (там давно построена шестирядная дорога), прямо напротив закусочной, занимавшей весь первый этаж старого греческого дома. Мне было немножко страшно, слегка мучила совесть, но я был счастлив: я держал в руке только что купленный горячий сандвич с сосиской. Я откусил огромный кусок и стоял, наблюдая за бесконечным движением города – за троллейбусами, объезжавшими площадь по кругу, женщинами, которые вышли за покупками, и мальчишками, бегущими в кино, – но тут радость моя улетучилась: меня застукали. Ко мне шел мой старший брат, и, по мере того как он приближался, я осознавал: он очень доволен, что застал меня на месте преступления.

– Ты что это, сандвич ешь? – спросил он, ехидно усмехнувшись.

Я опустил голову и без удовольствия доел свой сандвич. Как я и предполагал, дома брат презрительным тоном, в котором слышались легкие сочувственные нотки, рассказал о моем «проступке» маме. Больше всего мама ругала нас, когда мы ели на улице сандвичи с сосисками.

До начала 1960-х годов сандвич с сосиской был известен стамбульцам как совершенно особое блюдо – их продавали

в пивных немецкого образца, появившихся в городе. Начиная с 1960-х годов благодаря распространению газовых плит, падению цен на холодильники турецкого производства и открытию представительств «Кока-Колы» и «Пепси» в Турции сандвич стал повсеместно продаваться во всех закусочных Стамбула. В середине 1960-х годов, когда еще не придумали делать сандвичи с «донером»², очень популярен был сандвич с сосиской, вскоре ставший для стамбульцев, перекусывающих на улице, частью национальной кухни. Вы через стекло витрины выбирали одну из сосисок в томатном соусе – они похожи на буйволов, радостно развалившихся в грязи; указывали на нее официанту, державшему щипцы для сосисок, и потом нетерпеливо ждали, пока он сделает вам сандвич. При желании хлеб для сандвича можно было подогреть в тостере, полить темным томатным соусом, положить в сандвич кусочки огурца и помидора, помазать горчицей. В некоторых закусочных в сандвич с сосиской добавляли русский салат, который по причине холодной войны называли «американским».

Большинство этих закусочных и буфетов открылись в Бейоглу, изменив привычный образ жизни жителей этого района, потом они появились по всему Стамбулу, а за двадцать лет и по всей Турции, привив людям привычку есть на ходу, перекусывать на улице. Первые тостеры для сандви-

² *Донер* – турецкое национальное блюдо, мясо жарят на вертеле в вертикальном положении и постепенно срезают.

чей появились в Стамбуле в середине 1950-х годов, и в те же годы пекарни начали производство «хлеба для сэндвичей». Как только стал популярен горячий сэндвич с сыром, в Бейоглу появились гамбургеры. Названия первых двух больших закусочных, где продавали сэндвичи, – «Атлантида» и «Пасифик» – навевали мысли о дальних краях и волшебных мирах, их стены были украшены репродукциями мирных полотен Гогена с райскими островами Океании. В обеих закусочных гамбургеры были разными. В этом смысле первые в Турции гамбургеры, как и многое в Стамбуле, были продуктом синтеза Востока и Запада. Внутри гамбургера, приобщавшего молодых парней к жизни Европы и Америки, клали котлетки, любовно приготовленные по собственным рецептам тетушками в платках, гордыми, что кормят молодежь.

Мама была против именно этих котлет: она с отвращением говорила, что фарш для них сделан «неизвестно из кого», и запрещала нам есть на улице не только котлеты, но и сомнительные сосиски, салями и колбаски, приготовленные из того же мяса. Время от времени мы читали в газетах, что при облаве была обнаружена очередная подпольная фабрика по производству чесночных сосисок, изготовленных из конины и даже из ослятины. Должен признаться, что самые вкусные гамбургеры в своей жизни я покупал у торговцев перед входом на стадионы или в спортивные залы, куда ходил посмотреть футбольный или баскетбольный матч.

Я интересовался не столько футболом, игрой, сколько

толпой одновременно соперезживающих людей, и, пока стоял в очереди за билетом, аромат синего густого дыма котлет манил меня, проникая в нос, в волосы, струясь под пиджак, – пока я не переставал сопротивляться его зову. Мы с братом, поклявшись друг другу, что дома никому не скажем, шли покупать по сэндвичу с сосиской. Сосиску жарили на углях, а когда она почти обугливалась, ее оборачивали хлебом с большим количеством лука. С сэндвичем хорошо шел айран.

Не только моя мама, все мамы из семей среднего класса ужасались этим сосискам и котлетам, которыми мы питались на улице. Поэтому разносчики, продавая на улицах гамбургеры с сосисками, кричали: «Апик, Апик!» Так называлась известная марка сосисок «Апикоглу», в которые никогда не клали мясо лошадей и ослов. С 1960-х годов, когда стало модно есть на улице сэндвичи и гамбургеры, когда стамбульцы стали поглощать их в больших количествах, в кинотеатрах начали крутить рекламу фирм-производителей сосисок и колбас. Никогда не забуду один из первых турецких рекламных мультфильмов, который я видел в Стамбуле: в жерло гигантской мясорубки спускаются с небес на парашютах коровы с блаженным выражением морд, которым предстоит стать сосисками. А это что? Среди коров затесался симпатичный зубастый осел с хитрой улыбкой! Зрителям становится не по себе, когда осел подлетает к мясорубке, но тут из мясорубки высовывается кулак и отшвыривает его, а жен-

ский голос уверяет нас, что мы можем «со спокойным сердцем» покупать сосиски такой-то марки.

В Стамбуле, как и в других городах, люди перекусывали на улице не потому, что не могли поесть дома, а потому, мне кажется, что хотели позабыть о «спокойствии на сердце». Чтобы отойти от исламской традиции, где понятие «еда» тесно связано с понятиями «мать», «жена», «частная жизнь», и погрузиться в современную жизнь; став городским жителем, приходится соглашаться есть любую еду, не думая, кто, где и как ее приготовил. Требуется упорство, даже отвага, поэтому первый шаг делают студенты и безработные – люди, согласные на многое, лишь бы разнообразить убогость существования. Они собирались у входов на футбольные стадионы, на проспекте Бейоглу, около лицеев и университетов, в бедных районах города; они радовались, что собрались, восхищались современными холодильниками и газовыми плитами. И именно они оказали влияние на привычки жителей не только Стамбула, но и всей страны. В 1966 году, во время матча между Турцией и Болгарией на недавно открывшемся стадионе клуба «Галатасарай» «Али Сами Йен», лоток с гамбургерами и сэндвичами, стоявший посреди открытой трибуны, внезапно загорелся, и я со страхом смотрел, как огромная толпа, поглощающая в ожидании матча гамбургеры с сосисками, обезумела: началась давка, люди стали прыгать с трибун нового стадиона. В итоге – множество погибших и пострадавших.

Возможно, считается «современным» и «цивилизованным» есть вне дома, на грязной улице, еду, приготовленную незнакомыми людьми, но те из нас, кто приобрел тогда эту привычку, умудрились избавиться от проявления индивидуализма, который зачастую неотделим от понятия «современность». До того как в 1970-х годах Турцию охватила повальная мода на гамбургеры с «донером», возник бум на «лахмаджуны». Это блюдо – заимствованная у арабов лепешка (которую двадцать лет спустя я увижу в одном магазинчике под названием «турецкая пицца») – покорило Стамбул благодаря уличным торговцам. Теперь не надо было идти в кафе на углу, чтобы наполнить желудок. Перед тобой откуда-то появлялся торговец лахмаджуном в белом переднике и поднимал крышку лотка, оттуда шел пар и аппетитно пахло луком, фаршем и красным перцем. Мама, чтобы нас напугать, говорила: «Эти лахмаджуны делают не из конины, а из кошек и собак» – но нам все равно ужасно его хотелось, стоило только завидеть лоток, расписанный чудесными цветами, деревьями и изображениями лахмаджуна.

Стамбульская еда на улице привлекает не разнообразием ассортимента, она хороша тем, что каждый предлагает то, что знает и любит сам. Когда я вижу, как разносчик предлагает какое-нибудь деревенское блюдо на улицах большого города, которое приготовила его мать или жена, веря, что оно здесь тоже всем понравится, я наслаждаюсь не только пловом с нуттом, жареными на вертеле котлетами, печенью или

долмой с мидиями, но и красотой прилавков, видом трехколесных телег и стульев. Эти торговцы еще бродят по городу, но постепенно их становится все меньше: на улицах снуют миллионы людей, которые тем не менее в душе по-прежнему существуют в «чистом» мире своих матерей и жен. Закускам фабричного производства до сих пор «сопротивляется» «хлеб с рыбой». В старые времена, когда море было чистым и было много дешевой рыбы, а уличные прилавки ломились от пелагиды из Босфора, торговцы хлебом с рыбой были везде – в шлюпках, пришвартованных у берега, на площадях, у входов на футбольные стадионы.

В 1960-е годы мой друг детства, обожавший перекусывать на улице, иногда улыбался и с набитым ртом повторял свою любимую фразу: «Грязь придает еде вкус!» Этой фразой он защищался от угрызений совести за то, что ест еду, приготовленную вдали от «маминой» кухни. Когда я с удовольствием ем где-нибудь в кафе, то чувствую себя виноватым, что ем в одиночестве. Зеркала в полный рост на стенах маленьких, уютных закусочных усиливают это чувство. Когда мне было пятнадцать-шестнадцать лет и я перекусывал гамбургером с айраном где-нибудь в маленьком буфете перед походом в кинотеатр в Бейоглу, я смотрел на себя в зеркало и думал, что я некрасивый, поэтому я чувствовал себя одиноким, виноватым и потерянным в толпе большого города.

Глава 25

Босфорские паромы

Когда я плыву на пароме в Стамбуле, я ощущаю себя в этом городе, свою жизнь среди жизней других людей. Я знаю, что мое место на берегах Босфора, Золотого Рога, Мраморного моря, которые формируют Стамбул. Здания, которые делают город городом, их окна и двери – все становится тем значительнее, чем ближе к воде, чем выше и чем лучше видно из них море. Жители города тоже зависят от того, насколько близко они живут от этой воды. Те из них, кто видит море из окон дома (раньше таких счастливчиков было больше), смотрят на городские пассажирские паромы, снующие по Босфору, и чувствуют, что у города есть центр, есть исходная точка, определяющая целостность города; они чувствуют, что жизнь – как бы то ни было – идет своим чередом.

Вот почему приятно сесть на один из паромов, на которые мы смотрим днем и ночью, переплыть из одной части города в другую или отправиться на прогулку, – так мы познаем свое место во внутренней жизни города. А сорок лет тому назад мы с братом нетерпеливо ожидали, кто первым увидит высокие дома квартала и окна нашего дома с палубы парома, следующего с Принцевых островов к пристани Каракёй. Чтобы получше разглядеть знакомые улицы, высокие здания и большие рекламные щиты, мы поднимались на

верхнюю палубу, поближе к капитанской рубке. Но потом, когда мы видели их, наступало разочарование. Детское волнение от того, что вы видите издалека свою улицу и свой дом (я до сих пор испытываю это волнение всякий раз, когда сажусь на паром), омрачалось грустной мыслью: мы даже представить не могли, что наша жизнь настолько похожа на жизни других людей.

А вот вид из похожих друг на друга городских окон навевал совершенно противоположные чувства: он будил в нас желание обрести индивидуальность, быть уникальными. Когда мы смотрели на паромы, одиноко снующие туда-сюда по своим маршрутам, мы чувствовали себя свободными. Мой отец и дяди отличали каждый из сорока с лишним похожих друг на друга паромов издалека. У одного труба была немного длиннее или кривее, у другого – капитанский мостик выше, у третьего труба короче и толще, у четвертого нос повыше, а корма – пошире. Если отец угадывал название и номер парома, когда тот был еще лишь силуэтом на горизонте, мы, восхищенные, просили его открыть свой секрет. У отца и дяди были «свои» суда, и каждый раз, заведя один из них на Босфоре, они радовались, будто им выпало счастливое число, рассказывая нам историю этого судна. Сумели ли мы заметить, какая у него тонкая труба и как изящно она изогнута? Заметили ли мы, как оно слегка кренилось вправо, когда плыло по течению? Когда паром подходил ближе к берегу и огибал мыс Акынты-бурну, где мы стояли, мы махали

капитану рукой. В те времена на мысе работал сигнальщик, семафоривший пассажирским паромам красными и зелеными флажками.

Паромы ходили на угле, и из их труб поднимался густой черный дым, прочерчивавший в безветренные дни путь парома по Босфору. В детстве и юности я хотел стать художником, поэтому, закончив очередной акварельный пейзаж Босфора, я с удовольствием дорисовывал дым, поднимавшийся над паромами.

Подражая отцу и дядям, мы с братом тоже «присвоили» себе по парому. Эти суда, которые мы так любили, были примерно нашего возраста и ходили по Босфору и между островами с начала 1950-х годов. Мой «Пашабахче», построенный в Ливерпуле, отличался от двух своих собратьев приплюснутой трубой, и однажды, летним вечером 1958 года, проплывая мимо нашего дома на Хейбели-ада, он специально, по просьбе моего дяди, прогудел для меня два раза. Дядя накануне договорился с капитаном и сообщил об этом мне; я не мог дождаться вечера, когда мимо нашего дома проплывет «Пашабахче». Когда наконец из-за острова показалось судно, я побежал к морю и, стоя на верхней ступени садовой лестницы, дрожал от нетерпения. Никогда не забуду этот миг: судно, оказавшись между двух островов – как раз напротив того места, где я стоял, – два раза прогудело для меня. Звук гудка эхом разнесся над островами и горами в тихой, безветренной ночи, затем наступила тишина, и

я на мгновение, словно во сне, ощутил единение с природой и всем миром. Потом я услышал веселые крики и аплодисменты со стороны кухни, где среди деревьев ужинала моя большая семья; бабушка, дядя, мама, папа и другие – они поздравляли меня.

Хотя «Пашабахче» уже пятьдесят лет, Босфор постепенно утрачивает свое изящество и некую незыблемость: большинство старых пристаней закрылись, из некоторых сделали рестораны, многие просто снесли. Паромы, плававшие с 1940-х годов, которые так любили отец и дяди, отправлены в утиль, кроме одного-двух, превращенных в рестораны для туристов. Но на Босфоре еще плавают старые суда, и сотни пассажиров по-прежнему сидят на палубах, любясь Стамбулом и вдыхая бодрящий босфорский воздух, а утром, по пути на работу, пьют на пароме чай и читают газету. Следом за паромами, плывущими по Босфору мимо окон моей рабочей квартиры, где я пишу эту статью, летит рой белых точек. Я очень люблю наблюдать за ними в зимние дни. Это чайки – они ловко ловят в воздухе брошенные им кусочки симита или хлеба. Зимой с паромов им всегда кто-нибудь бросает хлеб. Но пропадает связь между судами и людьми, воспринимавшими их не как суда, а как людей. Когда раньше трехпалубный паром проплывал мимо берега, капитан на верхней палубе встречался взглядом с мечтательной домохозяйкой, накрывавшей стол в своем доме, на третьем этаже. А сейчас пассажиры быстроходных норвежских «морских ав-

тобусов», интерьеры которых напоминают тихий и душный кинотеатр, смотрят не в окна, а в телевизор.

Больше всего мне нравятся босфорские паромы по ночам, когда они пришвартованы к пристани и отдыхают. И если мы сидим в пивной на пристани, судно тянет свой большой, длинный нос, чтобы послушать нашу беседу. Оно похоже на любопытного сурового отца. Мы замечаем его и помним, что он подслушивает. Поздно вечером капитан курит в рубке, а матросы моют палубу из шлангов. В жару какой-нибудь матрос непременно будет спать на скамейке у пристани, где днем суетятся люди, а другой, сидя напротив, будет курить, глядя на темные воды Босфора. И в этот поздний час, в тишине, пришвартованное у пристани судно напоминает уснувшего здорового, красивого человека.

Глава 26

Острова

Летом 1952 года, спустя неделю после рождения, меня привезли на острова. У моей бабушки по отцу был просторный двухэтажный дом с большим садом на Хейбели-ада, на окраине роши, рядом с морем. Год спустя, когда я делал свои первые в жизни шаги на его широком, как веранда, балконе, меня сфотографировали. И сейчас, весной 2002 года, когда я пишу эту статью, я тоже снял дом на Хейбели-ада, неподалеку от дома моего детства. За эти пятьдесят лет я много раз проводил лето на стамбульских Принцевых островах, на Бургаз-ада, на Бюйюк-ада и на Седеф-ада, работая над романами. На стене длинного балкона того дома на Хейбели-ада, построенного семьдесят лет назад, есть место, где мы с двоюродными братьями каждый год измеряли и отмечали свой рост. Хотя дом этот давно нам не принадлежит из-за семейных распрей и банкротства, я все равно иногда хожу посмотреть на эти завораживающие отметки на стене.

Лето в Стамбуле для меня начинается с переезда на острова. Сначала должны закрыться школы, потом должно согреться море, чтобы можно было купаться, и должны здорово подешеветь черешня и клубника. В детстве сборы перед отъездом длились дольше, чем сейчас: в летнем доме не было холодильника — он считался западной роскошью, поэто-

му размораживали бабушкин холодильник; в дом приходили носильщики-хамалы, обматывали его мешочной тканью и с помощью блоков и подпор подымали его на плечи; глиняные миски и горшки заворачивали в газеты, ковры пропитывали нафталином и скатывали в рулон; в доме постоянно слышались шум стиральной машины и пылесоса, стук молотка и постоянные споры; на окна зимнего дома скрепками прикреплялись старые газеты, чтобы за лето полы, кресла и занавески не выгорели от солнца. Когда мы наконец в суматохе садились на паром, я начинал ужасно волноваться. Это полуторачасовое путешествие на пароме в начале каждого лета казалось мне бесконечным. Мы с братом, вдыхая прохладный морской воздух, запах водорослей и весны, пару раз проходили по судну от носа до кормы, приставали к бабушке или маме, чтобы они купили нам газировку у продавца в белом переднике, потом спускались вниз и болтали с нашим поваром, сторожившим у канатов холодильник, чемоданы и сундуки, и внимательно, не пропуская ничего, следили за тем, как паром сначала приставал к Кыналы, а потом к Бургаз-ада, как его привязывали тросами и ставили трапы. (У каждого города есть свои характерные звуки, свойственные только ему и знакомые его жителям: в Париже – это гудок метро, в Риме – шум мотоциклов, в Нью-Йорке – постоянный странный гул. Так и в Стамбуле есть звук, который хорошо знаком его жителям, – уже шестьдесят лет повсюду слышится скрежет маленьких деревянных тралов на желез-

ных колесиках, выдвигаемых с причаливающего судна.) Когда паром в конце концов причаливал к Хейбели-ада и спустили трап, мы с братом, не обращая внимания на крики мамы и бабушки, радостно бежали с пристани на остров.

В середине XIX века состоятельные стамбульцы начали активно ездить на острова на пикники и прогулки и строить там дачи. До конца XVIII века на острова можно было добраться только на грузовых весельных лодках, путь занимал примерно полдня от набережной Топ-хане. До этого острова были местом ссылки низложенных византийских императоров и политиков; и если не считать тюрем-монастырей, виноделен и маленьких рыбацких деревень, они были совершенно пустынными. С начала XIX века острова стали служить местом отдыха стамбульских христиан, левантинцев, а также дипломатов разных стран. В 1894 году, после того как между Стамбулом и островами летом стал ежедневно ходить пароход английской постройки, время путешествия между Стамбулом и Бюйюк-ада сократилось до полутора-двух часов. Это путешествие, которое некогда совершали свергнутые византийские императоры, принцы, императрицы, византийские политики, потерпевшие поражение в борьбе за трон, добираясь до места ссылки, откуда им не суждено было вернуться, в 1950-е годы сократилось до сорока пяти минут благодаря появлению экспресс-паромов, и теперь стамбульские богачи получили возможность возвращаться к себе на острова каждый вечер. В 1960-х и 1970-х годах, когда они еще не откры-

ли для себя южное побережье, Анталию и Бодрум, летом было трудно найти место на вечернем экспресс-пароме, отправляющемся от Каракёя, и солидные люди за час до отплытия отправляли слугу занять место. У богатых людей того времени – будь то иудеи, христиане или мусульмане – не было привычки читать, и некоторые сообразительные дельцы организовывали на паромах лотереи и карточные состязания, чтобы развлечь возвращавшихся с работы мужчин, которые коротали время за курением, созерцая друг друга или море. Призами служили диковинные западные «штучки» вроде огромного ананаса или бутылки виски. Я помню, как однажды вечером дядя выиграл приз и пришел, улыбаясь, домой, на Хейбели-ада, с огромным омаром в руках.

В начале 1980-х годов состояние воды в Мраморном море резко ухудшилось, и острова, прежде всего Бюйюк-ада, постепенно перестали привлекать стамбульскую знать, которая щеголяла там в привезенных из Европы нарядах и не стеснялась демонстрировать богатство. Летом 1958 года нас с родителями как-то днем увезли на роскошной яхте с Хейбели-ада на Бюйюк-ада на пляжную вечеринку. Помню, я глазел на красивых женщин в купальниках, загорающих на берегу и мазавшихся кремом, богатых мужчин, болтавших друг с другом, и на официантов в белых рубашках, предлагавших им канапе и напитки на подносах. На Хейбели-ада находилось военно-морское училище, было много матросов и офицеров, и, возможно, поэтому Бюйюк-ада всегда казал-

ся мне богаче; когда я шел мимо витрин, глядя на сыры, привезенные из Европы, на контрабандные алкогольные напитки, слушал музыку и веселую болтовню, доносившуюся из «Большого клуба», мне казалось, что «настоящие богачи» проводят время именно здесь. То были годы моего детства, – стыд и жадность заставляли меня замечать все: кто-то, сойдя с парома, удобно устраивался в повозках, а кто-то шел пешком; кто-то ходил за покупками сам, а кто-то поручал эту работу другим; у кого-то была роскошная яхта, а у кого-то утлая лодка.

Помимо богатых особняков, красивых садов, пальмовых и лимонных деревьев, особую атмосферу на островах создают конные повозки. В детстве я очень радовался, когда мне позволяли сесть рядом с возницей на козлы; а дома в саду играл, изображая звон колокольчика, стук подков и подражая движениям возницы. Сорок лет спустя я играл в эту же игру с моей дочкой, и тоже на островах. Сегодня повозки точно такие же, как тогда, – это дешевый и практичный транспорт; чтобы относиться к ним не как к развлечению для туристов, нужно не просто выносить сильный запах лошадиного навоза на рынках, улицах и остановках, нужно любить его, и любить настолько, чтобы с детским любопытством и улыбкой наблюдать, как во время поездки усталая лошадь (иногда безжалостно подстегиваемая хлыстом), изящно подняв пышный хвост, начнет одаривать вас любимым запахом.

До начала XIX века зимой на островах жили христианские

священники, студенты христианской семинарии и греческие рыбаки. После революции 1917 года на островах начали селиться бежавшие в Стамбул белогвардейцы. Постепенно деревни разрастались, в них открывались рестораны и клубы. На Хейбели-ада было основано военно-морское училище, построено несколько туберкулезных больниц; за последние сто лет на Бюйюк-ада образовалась большая еврейская община, а на Кыналы-ада – армянская; каждое лето на острова приезжают туристы и обслуживающий их персонал. Острова стали многолюдными, но совершенно не изменились. В последние годы, правда, людей приезжает поменьше, так как землетрясение 1999 года в Измите здорово ощущалось и на островах, а прогнозы сейсмологов крайне неутешительны.

Я люблю оставаться на островах осенью, когда кончается сезон летнего отдыха, – я начинаю чувствовать грусть пустых садов и представлять, как бы я провел здесь рано наступающие зимние вечера. В прошлом году я бродил осенним днем по садам и верандам Хейбели-ада, поедая инжир и виноград, который не успели собрать вернувшиеся в Стамбул семьи, и вспоминал свое детство. Я ощущал тихую грусть, когда поднимался по лестницам, качался на качелях и смотрел на мир с балконов. После той прогулки, так похожей на мои детские прогулки, я пошел в дом Исмета-паши³, где до этого был только однажды. Я смутно помню, как мы ходи-

³ Имеется в виду особняк Исмета Инёню на острове Хейбели-ада, в котором теперь находится его музей.

ли с папой в этот дом сорок пять лет назад и бывший президент взял меня на руки и поцеловал. Сейчас стены дома были украшены фотографиями паши времен расцвета его политической карьеры и пляжными фотографиями, на которых он в плавках на одной лямке входит в море. Меня напугали пустота и тишина, охватившие дом; легкая плесень, пыль и запах сосны, ванные, умывальни, кухонная мебель, колодец, цистерна для воды, дорожки на полу, старые шкафы и оконные рамы этого дома напомнили мне наш дом, который больше не принадлежал нам.

Каждый год, в конце августа и в начале сентября, над островами летят стаи аистов, направляющихся с Балкан зимовать на юг. И сейчас, как раньше, я выхожу в сад полюбоваться целеустремленностью этих паломников, чей шум крыльев доносится до меня в тишине. В детстве, через две недели после того, как пролетала последняя стая аистов, мы с грустью возвращались в Стамбул. А дома, сорвав с окон выгоревшие за лето газеты, я читал новости трехмесячной давности и зачарованно ощущал, как медленно течет время.

Глава 27

Землетрясение

Я проснулся ночью – как я узнал позднее, в три часа, от первого толчка. Это произошло 17 августа 1999 года, я спал у себя в кабинете на прохладном первом этаже нашего каменного дома на Седеф-ада, рядом с Бюйюк-ада, и моя кровать, стоявшая в трех метрах от стола, неистово содрогалась. Ужасный гул шел из-под земли, как раз из-под моей кровати, – так мне казалось. Даже не пытаюсь найти очки, не осознавая, что делаю, я мгновенно бросился в сад.

В саду, за кипарисами и соснами, за огнями города, вдалеке, над морем, неистовала ночь, полная страха и паники. Часть моего сознания следила за землетрясением, другая же часть недоумевала, слушая гул из-под земли: откуда эта ночная стрельба? (Наверное, политические убийства, теракты и ночные облавы 1970-х годов напомнили о себе.) Впоследствии я так и не понял, что именно могло вызвать ассоциацию с выстрелами.

Первый толчок продолжался сорок пять секунд и унес жизни тридцати тысяч человек; прежде чем он закончился, я поднялся по боковой лестнице на верхний этаж, к жене и дочери. Они проснулись и со страхом ждали чего-то в темноте. Электричество давно отключилось. Мы вышли в сад, в ночную тишину. Страшный гул прекратился, и все вокруг,

казалось, замерло в страхе. На маленьком зеленом острове, утопавшем в садах и окруженном крутыми скалами, было тихо, и только листва мирно шелестела от легкого ветерка, но мое колотившееся сердце говорило мне, что кошмар еще продолжается. Мы стояли под деревьями, изредка перешептываясь – словно для того, чтобы отогнать землетрясение. Потом последовали еще толчки, уже слабее, и они не напугали нас. Позднее, лежа в садовом гамаке со спящей семилетней дочкой на руках, я услышал звуки сирен «скорой помощи», доносившиеся со стороны Картала.

В последующие дни, пока продолжалась нескончаемая черед толчков, я слышал рассказы людей о том, что они делали во время этих первых смертельных сорока пяти секунд. Двадцать миллионов человек одновременно почувствовали ужасный первый толчок и услышали гул из-под земли, но говорили они не о первых погибших, а об этих секундах и о том, что пережили за эти мгновения. Большинство из них говорили: «Не поймешь, пока сам не переживешь».

Аптекарь, выбравшийся невредимым из жилого дома, который превратился в груды камней, клялся, что его слова подтверждают двое спасшихся, а значит, ему ничего не померещилось. Его пятиэтажный дом сначала на мгновение взлетел на воздух – он это очень хорошо почувствовал, – а потом обрушился на землю и рассыпался. Некоторые, проснувшись, заметили, что раскачиваются из стороны в сторону вместе с домом, который вдруг накренился и стал

падать; они понимали, что погибают, и все равно пытались за что-нибудь схватиться, тянули друг к другу руки, держали друг друга в объятиях, о чем свидетельствовали и позы трупов, вытащенных из-под обломков. В домах обрушилось все и сразу уже после первого толчка, и поэтому матери, сыновья, дяди, бабушки, в панике искавшие друг друга, лишь натыкались в темноте на чужие, незнакомые стены и вещи, не понимая, где они и как найти выход. Некоторые за эти сорок пять секунд сумели пройти несколько этажей по лестнице и выйти на улицу, пока здание не обрушилось. Я слышал истории о тех, кто был ночью в гостях и остался жив, успев выбежать; истории о старике и старушке, которые остались лежать в кровати, ожидая смерти; о тех, кто думал, что выходит на балкон четвертого этажа, а оказался на террасе; о тех, кто среди ночи пошел к холодильнику поесть, да там и остался, оцепенев от страха. Многие люди не спали и пытались сначала что-то предпринять в темноте, но потом страх перед грубой силой, трясшей дом, брал верх, и они оставались лежать там, где упали, не осмеливаясь подняться. Многие со смехом рассказывали мне, что остались лежать в кровати, натянув простыню на голову и уповая на Аллаха, – было найдено очень много погибших именно так.

Все это я услышал от людей – стамбульского сарафанного радио, работавшего с невероятной оперативностью. Наутро после землетрясения все крупные телевизионные каналы, установив камеры на вертолеты, вели постоянные репортажи

из района землетрясения. На островах особых потерь не было, но эпицентр землетрясения находился в сорока километрах от нас, на расстоянии птичьего полета. На побережье напротив нашего острова рухнули некачественно построенные здания, погибли люди. Весь день на рынке Бюйюк-ада царил тишина, пропитанная страхом и скорбью. Я все никак не мог осознать, что землетрясение произошло так близко, что оно унесло столько жизней и уничтожило места, где я провел почти все свое детство, – именно поэтому землетрясение казалось одновременно нереальным, но осязаемым кошмаром.

Больше всего пострадал от землетрясения Измитский залив. Он имеет форму полумесяца, и если представить себе турецкий флаг, то группа островов, в которую входит мой маленький остров, расположена на месте звездочки напротив полумесяца. Через неделю после рождения меня привезли на один из островов, и последующие сорок пять лет я бывал и жил на этих островах и в бухтах. Город Ялова, который очень любил Ататюрк за его термальные источники и куда мы ездили всей семьей в детстве, теперь лежал в руинах. Нефтехимический завод, где отец одно время работал директором, горел. Маленькие города, деревеньки, куда мы в детстве ездили за покупками на катере или на машине, все побережье, впоследствии заросшее блоками многоквартирных домов, – все, о чем я с грустной любовью рассказывал в «Доме тишины», все теперь сровнялось с землей. Мой разум решительно отказывался вспоминать первый день катастро-

фы и думать о масштабах бедствия, и я с головой окунулся в роман, который тогда писал. Мне не хотелось выбираться со своего маленького острова, где жизнь потихоньку шла по-прежнему.

На второй день я не выдержал. Сначала на катере мы отправились на Бюйюк-ада, а оттуда на регулярном пароме – в Ялову, на противоположное побережье в часе езды. Никто не просил нас, меня и моего друга-писателя, автора книжки под названием «Похвала аду», ехать туда; мы совершенно не собирались о чем-то писать или с кем-то об этом говорить. Нами двигало странное желание оказаться рядом с мертвыми и умирающими и погрузиться в ужас, покинув наш маленький счастливый остров. На пароходе, как и везде, люди читали газеты и тихим голосом говорили о землетрясении. Почтальон-пенсионер, сидевший рядом, сказал, что у него на Бюйюк-ада есть лавка, где он торгует молочными продуктами, которые привозит из Яловы, где живет сам. А сейчас, через два дня после землетрясения, он едет домой, в Ялову, посмотреть, все ли там в порядке.

Раньше Ялова была маленьким городком с зеленым побережьем, долина которого снабжала Стамбул овощами и фруктами. За последние тридцать лет зелень уступила место бетону, фруктовые деревья вырубili, и здесь были построены тысячи жилых домов; летом население городка, вместе с маленькими поселками, приближалось к полумиллиону. Едва оказавшись в городе, мы увидели, что девяносто процен-

тов этих бетонных гор обвалились или разрушены настолько, что войти в них невозможно. Мы поняли, что зря втайне надеялись кого-то спасти, помочь разобрать завалы: за два дня под завалами мало кто выжил, да и их могли спасти лишь немецкие, французские и японские спасатели, прибывшие с необходимым оборудованием. Случившееся горе было настолько огромным, что практически изменило судьбу города, — ему невозможно было помочь, можно было помочь лишь отдельным людям.

Многие, как мы, растерянно бродили по улицам. Мы ходили среди развалившихся и разрушенных зданий, машин, заваленных обломками, упавших стен, электрических столбов и минаретов, наступая на куски бетона, осколки стекла, электрические и телефонные провода. Во дворах лицеев, в маленьких парках и на пустырях стояли палатки. Солдаты перекрыли улицы и разбирали развалины. Люди искали несуществующий адрес и потерявшихся близких, люди ругались и дрались за место для палатки. На улицах не прекращалось движение: машины спасателей, откуда раздавали коробки с молоком или консервами, грузовики с солдатами, подъемные краны и экскаваторы, разбиравшие руины обрушившихся зданий. Люди на улицах заговаривали друг с другом, не здороваясь и не знакомясь, как дети, которые играют в свою игру, забыв о правилах взрослого мира; они рассказывали истории своего горя. Катастрофа заставила всех почувствовать, что они живут во враждебном мире, обрушившие-

ся стены обнажили не только нутро домов, они обнажили и проявили самые неприглядные и жестокие законы жизни.

Я долго смотрел на хаос вещей в искореженных зданиях: тканые дорожки, печально свисавшие из углов, как флаги в безветренную погоду; шкафы, развалившиеся и абсолютно целые; ветхие журнальные столики – неотъемлемая принадлежность гостиных; диваны и кресла; черные от дыма подушки, перевернутые телевизоры, цветы в горшках, как ни в чем не бывало красовавшиеся на балконе разрушенного дома; изогнутые зонтики от солнца, пылесосы, вытянувшие в пустоту свои шланги, приплюснутые велосипеды, разноцветные рубашки, одежда в открытых шкафах, халаты и пиджаки, висящие на дверцах... Тюлевые занавески, развевающиеся от легкого ветерка, будто ничего не произошло... Мы бродили среди этих вещей и чувствовали, как хрупка и уязвима человеческая жизнь.

Мы долго бродили по улицам, понимая, что катастрофа необратимо изменила наши души. Иногда я заглядывал в какой-нибудь переулок или садик, куда выходило окно полуразрушенного дома, куда, как и в большинство домов, уже не войти никогда, и представлял, как домохозяйки многие годы смотрели из своих кухонь на эту сломанную сосну, на сад, покрытый сейчас осколками, кусками бетона и черепками посуды. Знакомые нам картины: в окне напротив женщина на кухне, мужчина в кресле, смотревший по вечерам телевизор, девушка – мы привыкли видеть ее за полуоткры-

той занавеской... Теперь их там не было, потому что не было ни окна кухни напротив, ни стен дома напротив, ни тюлевой занавески, – картины, к которой привык наш взгляд, больше не было. А может, не было и нас самих.

Оставшиеся в живых сидели сейчас на где-то найденных стульях, обломках стен, обочинах тротуаров и ждали, пока достанут из-под развалин погибших. «Здесь мои папа с мамой», – говорил мальчик, указывая на груды бетонных блоков. «Нас здесь не было, мы прибежали сразу после землетрясения. Сейчас ждем, пока их вытащат». Мужчина из Кютахьи, показывая на руины дома матери, говорил: «Мы заберем тело и сразу уедем!»

Все люди на улице чего-то ждут: новостей о потерявшихся знакомых, информации о том, что мать под развалинами (может, она куда-нибудь ушла из дома поздно ночью, до землетрясения, хотя на нее это не похоже); ждут, чтобы забрать труп дяди, брата или сына и уехать; ждут, когда можно будет найти что-то из вещей или ценностей среди кучи бетона и пыли; ждут грузовик, чтобы погрузить на него вещи, которые удалось спасти; ждут, чтобы пришли бригады спасателей и открыли проезд по дорогам – чтобы могли подъехать машины реанимации и спасти жену или сестру, которые все еще живы под обломками. Хотя телевидение и пресса постоянно рассказывали о чудесных спасениях, к концу третьего дня осталось мало надежды на то, что из-под завалов можно достать живых людей. Хотя многие были живы – были слышны

их голоса и удары, которыми они старались привлечь внимание.

Существуют два типа завалов. Первый – когда коробки домов упали набок, сохранив форму, а часть этажей сложилась, словно колода карт... Тогда в пустотах между стенами еще могут быть живые. Завалы второго типа – это груда развалин, причем непонятно, как выглядело само здание. И в этом случае почти невозможно найти живых. Для спасения хотя бы одного человека требуется масса времени. Когда подъемный кран медленно поднимает бетонную плиту, жители дома и те, кто ищет тела близких, смотрят на нее сонными, усталыми глазами. Когда достают чей-то труп, они сетуют: «Он здесь вчера весь день плакал, но никто так и не пришел!» Иногда завалы расчищают экскаваторами, иногда подъемниками, иногда железными прутьями или просто лопатами. И прежде чем находят тело, из откопанного завала появляются сначала вещи погибших – свадебная фотография в рамке, коробка с ожерельем, одежда. И сильный трупный запах. Когда под завал пробирается спасатель или доброволец, чтобы осмотреть, в толпе, ожидающей перед завалами, начинается волнение, раздаются крики и плач. Потом ищут технику, людей, решают, как достать тело. И все это длится так долго, что становится понятно: чтобы поднять каждую плиту и достать каждое тело, потребуются долгие месяцы, что совершенно невозможно из-за жары – быстрое разложение тел чревато возникновением эпидемии. Су-

дя по всему, эти груды бетона вместе с трупами, домашними вещами, вставшими часами, сумками, разбитыми телевизорами, подушками, занавесками и коврами соберут экскаватором, погрузят на грузовики и захоронят подальше от города. Уже сейчас неопознанные трупы фотографируют и сразу отправляют куда-то на захоронение.

Я словно раздвоился: часть меня хотела все забыть, сделать вид, будто ничего не происходит, а другая часть – впитать все увиденное и рассказать.

Мы видели на улицах людей, разговаривавших сами с собой; кто-то спал в машине, поставленной на пустыре, кто-то аккуратно расставлял коробки с вещами, вытащенными из полуразрушенных домов. Мы видели людей в госпитале, устроенном на стадионе, где поднимались и садились вертолеты. Мы встретили одного нашего приятеля-фотографа – он шел с женой-писательницей к дому ее отца, по пути фотографируя. Дом уцелел, и его тесть рассказал нам о шуме, который он слышал ночью из развалин. В саду маленького полуразвалившегося дома мы нарвали запыленного сладкого винограда и поели.

Когда люди видели наши фотоаппараты, они говорили: «Журналисты, напишите обо всем!» Они жаловались на государство, на муниципалитеты, на воров-подрядчиков; об этих жалобах говорили журналисты в прессе и на телевидении, но, по всей вероятности, эти люди опять изберут политиков, чиновников и мэров-взяточников, на которых сейчас

жаловались, а те опять будут гордиться полученными головами избирателей. И скорее всего, нынешние жалобщики тоже когда-то платили взятки в муниципалитет, чтобы обойти кое-какие строительные нормативы, считая, что это разумно. В стране, где президенты называют взятки практичностью, в обществе, где все вопросы принято решать неформально, где на мошенников жалуются, но терпят, трудно ожидать, что подрядчики не будут воровать бетон и цемент и начнут соблюдать все правила строительства, учитывая вероятную сейсмическую ситуацию. Ходили слухи, что из сорока домов, выстроенных одним подрядчиком, уцелел лишь один – тот, в котором жил он сам.

Государство, не принявшее мер до землетрясения, а после него не сумевшее вовремя организовать необходимые спасательные работы, не может вызывать уважения граждан. Но тем не менее это государство по-прежнему будет уважаемо, так как беспомощному народу нужна вера в некую силу, которая, как Аллах, может защитить их. То же касается и армии, которая пришла на помощь слишком поздно, – отчасти из-за того, что у них развалились их собственные дома. Это землетрясение сильно ударило по национальной гордости народа. Я часто слышал, как многие люди говорили: «Вот, даже немцы и японцы успели приехать, а из наших никто не приехал на помощь!» То же писали и газеты. Почему это произошло? «Мы неорганизованные!» – сказал один старик, зная, что смирение лучше лечит, чем гнев. В одной

части города хлеб гнил в грузовиках, а в другой части его не хватало. Люди, похороненные под завалами, умирали, плача от беспомощности, а спасательные машины стояли в другом месте из-за автомобильной пробки или кончившегося горючего.

Мы видели одного человека, ездившего по переулкам на запыленной машине, подъехав к развалинам первого попавшегося дома, он останавливался и кричал из окна: «Сколько раз я говорил вам, что на вас – гнев Аллаха, я говорил вам – покайтесь в грехе!» Я читал множество статей на эту же тему: многие считали, что Аллах наказал военных и чиновников за то, что они слишком часто вмешивались в вопросы религии. Кое-кто, правда, спрашивал: почему в таком случае было разрушено столько мечетей и минаретов?

Среди этого опустошения – развалин и трупов – были, конечно же, и моменты счастья. Кого-то достали живым из-под завалов, хотя прошло столько времени! К нам на помощь поспешили люди из других городов и из-за границы, из стран, которых государство постоянно представляло как «врагов»! Но больше всего люди радовались тому, что они остались живы, что можно забыть об этом кошмаре. К концу третьего дня многие уже смирились с бедой и строили планы на будущее; несмотря на все предупреждения и запреты, эти смельчаки осторожно вытаскивали свои вещи из разрушенных домов. Мы видели двух молодых людей, которые вошли на первый этаж дома, лежавшего на земле под углом сорок пять

градусов, и снимали с потолка люстру.

На пристани кофейня под большими каштанами была забита людьми. Несмотря на все смерти и потери, в зале царил атмосфера радости. Владелец кофейни нашел где-то электрогенератор и сумел охладить напитки в холодильнике. Молодые люди, подходившие к нашему столу, говорили не о землетрясении, а о книгах, литературе и политике. Жизнь продолжалась.

На обратном пути мы опять встретили на пароме почтальона. Он подсел к нам. «Я пришел на нашу улицу и увидел, что дома нет, — сказал он тихо. — А под завалами еще осталась двенадцатилетняя девочка». Казалось, он испытывает чувство вины за все случившееся.

Позднее мой приятель вспомнил об одном знакомом англичанине, который всегда жаловался на плохую погоду во время отпуска. А почтальон, у которого теперь не было дома, не жаловался. Мы решили, что, наверное, землетрясения в Турции и уносят столько жизней, потому что люди не жалуются, но мысли эти меня ужаснули. Ночь предстояло провести в ожидании нового землетрясения.

Когда паром был на середине залива в форме полумесяца, я смотрел на многочисленные новые города, выросшие за последнее время, — они слились в один город из одинаковых бетонных многоэтажек. И теперь вся эта земля живет в страхе перед новым землетрясением, которое, по прогнозам сейсмологов, будет еще более сильным и произойдет ближе

к Стамбулу. Точная его дата неизвестна, но, судя по информации в газетах, линия разлома будет проходить как раз под моим маленьким островом, к которому подплывал паром.

Глава 28

Стамбульская боязнь землетрясения

Раньше я никогда не задумывался о том, что высокий минарет, который стоит у меня прямо перед окном и который я вижу из-за стола, однажды может упасть на меня. Мечеть была построена по приказу султана Сулеймана Великолепного⁴ в память о его сыне, принце Джихангире, умершем в юном возрасте; с 1559 года она стояла на склоне отвесного холма, обращенного на Босфор, как «символ постоянства».

На эту мысль натолкнул меня мой сосед сверху, когда пришел поделиться опасениями по поводу землетрясения. Посмеиваясь, волнуясь, мы тут же вышли на балкон и на глаз измерили расстояние. За последние четыре месяца в Стамбуле и окрестностях произошло два землетрясения и множество слабых толчков; мы оба еще слишком хорошо помнили о них и о смерти тридцати тысяч человек. К тому же (я читал это по глазам моего соседа, инженера-строителя) мы оба верили прогнозам ученых: в скором времени вблизи Стамбула, в Мраморном море, произойдет еще одно крупное землетрясение, которое разрушит город и унесет жизни сотен тысяч людей.

⁴ *Султан Сулейман Великолепный* (Сулейман Кануни, годы правления 1520–1566) – десятый султан Османской империи, при котором она достигла наибольшего могущества.

Расстояние до минаретов, вычисленное на глаз, нас не убедило. Пролистав книги и энциклопедии, мы выяснили, что за прошедшие четыреста пятьдесят лет мечеть Джихангира, которую мы считали «символом постоянства», была дважды разрушена и отстроена заново из-за землетрясений и пожаров и что ни минареты, ни купол напротив нас не являются подлинными. Проведенное нами краткое исследование показало, что все старинные стамбульские мечети и памятники – включая и Айя-Софию, купол которой обрушился от землетрясения через двадцать лет после окончания строительства, – хотя бы однажды рушились от землетрясений, большинство же отстраивалось заново по несколько раз, «с расчетом на большую нагрузку».

Что касается минаретов, то тут дела обстояли еще хуже. Во время самых сильных землетрясений, случившихся за последние пятьсот лет, – например, во время землетрясения 1509 года, названного «маленьким Судным днем», или землетрясений 1766 и 1894 годов – рушились в основном не купола, а минареты. После последних двух землетрясений я видел очень много упавших минаретов – и по телевизору, и в районах бедствия, куда мы ездили. При падении они разрезали здания пополам, как длинный тонкий нож: студенческие общежития, где ночью сонные охранники играли в нарды, дома, где матери кормили детей, или, как это было во время землетрясения в Болу, квартиры, где вся семья в тот момент смотрела теледебаты о том, будет ли землетрясение или нет.

Большинство не разрушенных во время двух последних землетрясений минаретов были повреждены. Не подлежащие реставрации сооружения оттаскивали цепями и подъемными кранами и разбивали. И я, и мой друг много раз видели по телевизору кадры сноса минаретов в замедленной съемке, поэтому знали, как падает минарет и под каким углом. Мы с соседом попытались установить угол падения нашего минарета. После землетрясения 17 августа 1999 года верхушка над его балкончиком слегка деформировалась, а камень под полумесяцем после удара молнии треснул и упал во двор.

Несмотря на малоутешительную информацию, мы взяли веревку и измерили расстояние от нашего дома до минарета – выяснилось, что, даже если минарет упадет точно под прямым углом, до наших верхних этажей он не достанет. Наш дом, обращенный к Босфору, был выше минарета и находился далеко от него. Уходя, сосед сказал: «Минарет вряд ли упадет на нас. Скорее всего, наш дом упадет на него».

В последующие дни, пока я выяснял, упадет ли дом, где я работаю, на минарет и какова вероятность обрушения домов, где находится моя рабочая квартира и где я живу, с соседом мы не встречались. Не потому, что мне не нравился его циничный юмор – обычная реакция людей, которым угрожает опасность, – а потому, что он, как и все мы, чувствовал, что прогнозирование вариантов собственной гибели – дело сугубо личное. Мой сосед отковырнул кусочек стены нашего шестиэтажного дома и отправил его в Стамбуль-

ский технический университет на экспертизу; правда, ответ обещали не скоро, так как то же самое сделали тысячи других людей. Я знал, что это ожидание немного успокоит его, ведь он сделал все, от него зависящее.

Я же понял, что моя успокоенность – в сборе информации. Во время поездок по району землетрясений я усвоил, что здания рушатся по двум основным причинам: первая – некачественный материал, вторая – рыхлый грунт. Так что я, как и многие другие, попытался выяснить у инженеров-строителей, на какой почве стоят дома, где я провел всю жизнь; я разглядывал чертежи и схемы, консультировался со специалистами, разговаривал с теми, кто, как и я, познал вкус тревоги и страха.

Хотя два последних сильных землетрясения произошли на расстоянии ста пятидесяти километров от центра города, от их толчков проснулся весь Стамбул; гибель тридцати тысяч человек подтвердила, что строительство в Турции ведется некачественно и неграмотно. И для двадцати миллионов человек, живущих в окрестностях Стамбула, мысли о предстоящем землетрясении превратились в ночной кошмар – они вполне обоснованно опасались, что их дома рухнут. Отсутствие единого плана застройки, некачественные стройматериалы, бесконечные пристройки, достройки и перепланировки, проводившиеся без соблюдения норм безопасности и без точных инженерных расчетов – во многих домах были бездумно снесены несущие стены и колонны, – все это

превратило наши дома в смертельную ловушку. Многие пытались успокоить себя тем, что их дома строили их собственные отцы и деды, что гарантирует прочность здания. Но даже если вы уверены, что ваш дом не выдержит будущего землетрясения, и решите укрепить его, что соразмерно трети стоимости вашей квартиры, вам все равно придется убеждать циничных, безразличных ко всему, иронизирующих, глупых, пройдошистых и, скорее всего, безденежных соседей, которые не хотят ничего делать. В Стамбуле я не знаю ни одного дома, жильцы которого, договорившись, взялись бы за его укрепление. Да что соседи! Многие не смогли договориться с собственными женами, мужьями, детьми. У кого-то просто не было денег для этого; покоряясь судьбе и продолжая бояться, они находили утешение в циничных высказываниях вроде: «Хорошо, даже если я потрачусь и укреплю дом, вдруг на нас свалится дом напротив?»

Из-за этой беспомощности и безнадежности миллионы стамбульцев в этом году страдают ночными кошмарами. Мои собственные кошмары похожи на кошмары других людей. Сначала вы видите кровать, в которую собираетесь лечь. Прежде чем лечь, вы думаете, не произойдет ли землетрясение. И оно вдруг начинается, и очень сильное. Вы долго качаетесь вместе с кроватью – все происходит как в замедленной съемке, потом ваша маленькая комната, ваш дом, ваша кровать и все предметы вокруг, качаясь, начинают перемещаться и менять форму. Стены комнаты постепенно раз-

двигаются, и вашему взору предстает картина бедствия, похожая на кадры съемки с вертолета, которые вы много раз видели по телевизору. Но, несмотря на ад крошечный, вы в глубине души довольны, раз вы, свидетель бедствия, живы. Мать, отец и супруга, которые обвиняют вас в случившемся, тоже живы – они ругают вас, а значит, живы. Эти сны сняты людям из-за ощущения обреченности, поэтому пробуждение приносит радость и чувство облегчения. Когда мы просыпаемся от страха и находимся между сном и явью, нам кажется, что землетрясение в самом деле произошло; мы кидаемся с расспросами к родным, так и не поняв, во сне или наяву было землетрясение, или хватаемся за газеты, ища последние сводки о толчках.

Так как мы не верим в прочность наших домов и никак не можем избавиться от состояния паники, царящей в Стамбуле, мы вдруг подумали, что помочь нам могут только ученые.

Профессор Ышыкара, директор первой и единственной в Турции сейсмической станции, рассказал нам, что на севере Турции есть линия разлома, как и в Калифорнии, которая проходит через всю страну, и что последние землетрясения начинались на востоке и постепенно приближались к Стамбулу. После первого крупного землетрясения, 17 августа 1999 года, когда за ним гонялась вся пресса, он каждый вечер перемещался с одного канала на другой, повторяя свои теории, которые годами никто не слушал, а все ведущие задавали ему только один вопрос: «Профессор, скажите, по-

жалуйста, сегодня ночью будет землетрясение?» Сначала он отвечал: «Землетрясение может случиться в любой момент». Потом, увидев, что миллионы людей ошалели от страха, выпрыгивая в окна при малейшем толчке, он решил отвечать иначе: «Когда будет землетрясение, нам неизвестно». Спустя два дня после первого сильного землетрясения участились последующие толчки, и вся Турция смотрела по телевизору выступление профессора – он намекнул, что ночью возможно землетрясение. Люди, утратив хладнокровие, опять ночевали в садах и на улицах. Стамбульцы очень любили этого приятного рассеянного профессора с внешностью Эйнштейна (но без его гениальности) за то, что в дни, когда невыспавшиеся люди от страха окончательно потеряли надежду, он говорил именно то, что мы хотели услышать, даже если его слова не были обнадеживающими (например, высказывал предположение, что линия разлома пока довольно далеко от Стамбула). Он улыбался, даже когда сообщал что-то неприятное.

Были и другие ученые, более жесткие и принципиальные. Таких стамбульцы ненавидели. Одним из них был геолог, профессор Шенгёр. Он вызвал всеобщий гнев, когда хладнокровно и беспристрастно назвал первое землетрясение, унесшее жизни тридцати тысяч человек, «очень красивым». Истинная же причина ненависти к нему и к ему подобным заключалась в том, что они неопровержимо доказывали, что приближающееся к Стамбулу землетрясение будет невероят-

но сильным. И говорили они об этом с отстраненностью истинных ученых. Беспристрастность и своего рода жестокость профессора объяснялись просто: при строительстве некачественных жилых домов к робкому голосу науки так никто и не прислушался, как, впрочем, никто не обратил внимания на зарубежную прессу, ссылавшуюся на его прогнозы уже миллионы раз. И поэтому он, как имам, пугающий безбожников грозными карами, с удовольствием рассказывал миллионам непросвещенных стамбульцев о том, что с ними скоро приключится.

Обычными гостями телевизионных программ, куда приглашали ученых, были королевы красоты и чемпионы по бодибилдингу, а ведущие, не слушая подробных объяснений ученых, спрашивали одно: «Скажите, пожалуйста, будет ли в Стамбуле в ближайшее время землетрясение? А сколько баллов?» В одной из главных турецких новостных программ 14 ноября 1999 года разгорелась такая жаркая дискуссия о последних данных относительно линии разлома в Мраморном море, что визиту Клинтона в Турцию уделили пару минут из сорока пяти. Передача закончилась, а мы так и не получили ответа на свои вопросы, поэтому нам остается лишь ждать новых неубедительных дискуссий, новых вопросов и новых заявлений.

Так как ученые не смогли конкретно и убедительно спрогнозировать ситуацию, миллионы стамбульцев, живущих в опасных для жизни домах, пришли к выводу, что им самим

надо искать выход из этого кошмара. Некоторые положились на волю Аллаха, некоторые решили просто обо всем забыть, некоторые испытали ложное чувство успокоения, приняв определенные меры предосторожности.

Теперь люди держат у изголовья мощные фонари, чтобы, в случае отключения электричества, суметь быстро выбраться из разрушенного дома, пока не начался пожар. Рядом с фонарями лежат свистки и мобильные телефоны, чтобы подать знак спасателям, если окажешься под завалами. Некоторые носят на шее свистки и ключи, чтобы не тратить время на их поиски. Многие перестали закрывать двери, чтобы мгновенно выбраться на улицу из своего двух-трехэтажного дома, у других из окон свешиваются веревки, чтобы быстро спуститься в сад. В первые месяцы после землетрясения кое-кто из стамбульцев постоянно носил дома каски. Так как катастрофа произошла ночью, жильцы домов – даже те, кто жил на верхних этажах и все равно бы не успел покинуть здание, – ложились спать одетыми. Я слышал о людях, сокративших до минимума время посещения ванной или уборной, и о парах, утративших от страха интерес к любовным утехам. Во многих домах на случай землетрясения держали наготове сумки со всем необходимым – едой, молотком, фонарем и прочим, что может понадобиться, чтобы выжить в полыхающем, разрушенном городе. Кое-кто носил при себе очень крупные суммы денег, чтобы было на что жить. Изменилась обстановка в квартирах – кровати отодвинули подальше от

стен, шкафов и полок. Рядом с плитами и холодильниками устраивались маленькие убежища, так называемые треугольники жизни, в которых, как учили пособия по выживанию, можно было защититься от падающего потолка.

Я тоже укрепил один из углов своего длинного стола, за которым уже двадцать пять лет пишу книги. Из самых толстых книг библиотеки – тома «Британники», изданной сорок лет назад, тома еще более старой «Энциклопедии ислама» и «Стамбульской энциклопедии», откуда я почерпнул сведения о прежних землетрясениях, – я соорудил убежище у себя под столом. Убедившись, что оно достаточно прочное, чтобы выдержать бетонные плиты, я несколько раз «отрепетировал» землетрясение в воображаемом «треугольнике жизни» под столом, лежа в позе зародыша, – как учили, чтобы защитить внутренние органы. Руководства по выживанию также рекомендовали положить в надежном углу «убежища» немного печенья, воду в пластиковой бутылке, свисток и молоток, но я этого не сделал. Может, потому, что от соседства этих предметов, напоминающих мне о реальном мире, с моим рабочим столом я бы еще больше пал духом?

Нет, причина крылась в другом. Я видел отсветы этого чувства в глазах многих людей, хотя мало кто говорил об этом; я могу назвать это чувство стыдом – стыдом с привкусом ощущения собственной вины и жалости к себе. Похожее чувство возникает, если среди ваших родственников есть пьяница или преступник, если вы потерпели финансо-

вый крах, — вы хотите отгородиться, уйти от неприятностей, одновременно стыдясь их... Так и я не мог отвечать на звонки и письма своих друзей, знакомых, издателей, живущих за границей, когда они спрашивали, как у меня дела; я ушел в себя — как человек, который только что узнал, что у него рак, и теперь пытается скрыть это. Если в первые дни мне и хотелось говорить об этом, то только с теми, кто боялся землетрясения, боялся, как и я. Правда, наши разговоры на эту тему походили скорее на бесконечное цитирование выступлений и интервью специалистов и ученых, как оптимистичных, так и удручающих.

Одно время я постоянно читал книги о прошлых землетрясениях, пытаюсь выяснить, как они отразились на кварталах, где находятся моя рабочая и жилая квартиры. Оказалось, что во время землетрясения 1894 года в моем квартале пострадало всего несколько зданий.

В одном журнале, постоянно публиковавшем статьи на тему предстоящего землетрясения, я обнаружил схему, которая привела меня в ярость. На этой схеме мой квартал был обозначен темным цветом как один из наиболее опасных. Или мне показалось? Что можно разобрать на мелкой схеме? С лупой в руках я пытался рассмотреть, накрывает ли смертельное пятно мою улицу и мой дом, пытался соотнести эту схему с более подробными картами. Решительно нигде больше мой квартал не относили к разряду опасных. Подумав, что это какая-то ошибка, о которой следует забыть, я

понял, что смогу забыть, если никому ничего не скажу.

Несколько дней спустя, глубокой ночью, я опять с лупой в руке разглядывал темное пятно на карте. Потом я пытался разыскать человека, нарисовавшего эту карту. Хозяин моего дома, узнав о моих изысканиях, отыскал фотографии, которые он снял сорок лет назад, когда закладывали фундамент дома. Так как я уже сорок лет живу в этом квартале, старые фотографии воскресили в памяти множество детских воспоминаний, но, взяв в руки лупу, я снова стал выискивать участки прочной скальной породы. Из-за неразберихи в ученых умах и истерии, которую нагнетали средства массовой информации, жители Стамбула проводили ночи без сна: то нам сулили ад крошечный, то обещали, что сила землетрясения вряд ли превысит пятибалльную отметку по шкале Рихтера; аналогичным образом обстояло дело и с моими исследованиями: я понимал, что издатели журнала не сильно беспокоились о достоверности публикуемой информации, но продолжал мучительно размышлять о том, как это пятно может повлиять на меня, мой дом и мою жизнь.

И все это время я впитывал бесконечные слухи и сплетни, расходившиеся по городу с невероятной скоростью. После землетрясения я только улыбался, когда слышал разговоры о том, что в море начала нагреваться вода и это якобы доказательство нового землетрясения, или о странной связи землетрясения с солнечным затмением, которое было неделю назад. «Не смейся, – заявила мне сердито одна девуш-

ка. — Если будет землетрясение, мы его не услышим из-за тебя». Говорили, что землетрясение устроили курдские сепаратисты; кто-то пустил слух, что постарались американцы, которые теперь слишком уж быстро прибыли на помощь на военном корабле-госпитале. «Как думаешь, — говорили люди, — как это они так быстро приплыть успели?» Рассказывали, что кто-то слышал, будто капитан, глядя с корабля на берег, грустно произнес: «Надо же, что мы наделали!» Позднее эти слухи прижились, стали почти нормой: привратник, который утром звонил в квартиру, чтобы отдать молоко и газету, сообщил, что вечером, в десять минут восьмого, Стамбул будет разрушен мощнейшим землетрясением, — словно предупреждал, что вечером на час отключат воду. Ходили слухи об одном профессоре, который, зная правду, просто сбежал в Европу. Шла молва, что правительство, которому уж точно заранее известно все, тайно распорядилось привезти из-за границы миллион специальных полиэтиленовых мешков для трупов. Кто-то слышал разговоры о том, что якобы военные уже начали рыть братские могилы на больших пустырях за городом. В Йешиль-Юрте, одном из самых дорогих районов Стамбула с самой зыбкой почвой, хозяева домов, устроив собрание, разделились на два враждебных лагеря: одни хотели обсудить меры безопасности, другие горевали, что лишняя шумиха приведет к падению цен на дома. Примерно в то же время мой друг-журналист объяснил мне, что приостановлен выпуск карт, необходимых мне для ис-

следования темного пятна, так как издатели опасаются гнева агентов по недвижимости и домовладельцев.

Два месяца спустя мой сосед с верхнего этажа сказал, что университет, куда он отправлял образец бетона нашего дома, прислал ему отчет. Вывод был такой: здание, где я пишу свои книги, нельзя считать ни надежным, ни опасным. Мы должны сами решить, как к этому относиться. Примерно в то же время я узнал, что один мой друг, работавший в музыкальной сфере, пострадал во время землетрясения – его дом в Гёльджуке, районе наибольших разрушений, оказался непригодным для жилья; он поселился в отеле «Хилтон», но, разуверившись в его надежности, решил проводить дни на улице, будто куда-то торопясь и решая все дела по мобильному телефону. Говорили, что он постоянно куда-то спешил, никогда не останавливался и все время бормотал: «Почему мы не уезжаем из этого города, почему не уезжаем?»

Многие уезжают из Стамбула – из бедных кварталов и потенциально опасных районов, где погибли тысячи людей; цены на жилье падают. Но большинство стамбульцев продолжают жить обычной жизнью. В нашей ситуации жалобы на ученых, вера в сплетни, забвение, попытки отвлечься празднованием наступления нового тысячелетия, объятия с любимыми и безразличие примиряют с мыслью о землетрясении и помогают «жить с этим», как сейчас модно говорить. Позавчера одна молодая, очень счастливая женщина, недавно вышедшая замуж, пришла ко мне, в рабочую квартиру, об-

судить макет обложки моей книги и искренне рассказывала о своем методе отвлечения от плохих мыслей.

«Ты веришь в то, что землетрясение будет, и ты боишься, – говорила она, подняв брови. – Но каждое мгновение ты проживаешь так, словно оно последнее. Иначе ничего невозможно делать. Но в этом есть противоречие. Например, мы знаем, что теперь находиться на балконе очень опасно. И все-таки я сейчас выхожу на балкон», – сказала она категорично и, медленно, осторожно открыв дверь, вышла на балкон. Я не двинулся с места, а она некоторое время смотрела на мечеть и на Босфор за мечетью. «Пока я стою здесь, – сказала она через некоторое время, – я не верю, что землетрясение произойдет прямо сейчас. Если поверю, от страха не смогу здесь стоять». Вскоре она вернулась в комнату и закрыла дверь. «Вот что я делаю, – сказала она с легкой улыбкой. – Я выхожу на балкон, и, пока я там, мне удастся мысленно одержать маленькую победу над землетрясением. Этими маленькими победами мы добьемся того, что сильного землетрясения не будет».

Когда она ушла, я вышел на балкон полюбоваться минаретом, красотой Босфора и Стамбула в утренней дымке. Я всю свою жизнь жил в этом городе. И я спросил себя, как тот бродивший по улицам человек, почему мы не уезжаем.

Потому что я не мыслю свою жизнь без Стамбула.

Книги и чтение

Глава 29

Как я избавляюсь от некоторых книг

Во время одного из последних землетрясений – того, что в ноябре ударило по Болу, – в моей библиотеке слышался стук, а книжные полки стонали на разные лады. В это время я лежал на кровати с книгой в дальней комнате и смотрел, как надо мной раскачивается лампочка без абажура. Меня одновременно испугало и рассердило то, что моя библиотека разделяла ярость землетрясения, – она приняла и покорила его пульсирующим ритмам, она бунтовала против меня, она предавала меня. Во время последующих толчков она вела себя так же. Я решил наказать библиотеку.

Со странным спокойствием я довольно быстро выбрал двести пятьдесят книг и выбросил их. Я наказывал свое прошлое – ведь я искал эти книги, выбирал, покупал, приносил домой, хранил и читал, я отвергал старые мечты – когда-то я предвкушал, как буду читать. Позднее я понял, что сделал это не из желания наказать библиотеку, – я хотел ощутить себя свободным.

Эта история – хорошее начало рассказа о моих отношени-

ях с книгами и библиотекой. Я хочу сказать несколько слов о своей библиотеке, но не для того, чтобы похвастаться, какой я «культурный», исключительный и непохожий на других. И я не собираюсь уподобляться хвастливым книголюбам, которые обожают рассказывать, как они нашли такие-то и такие-то редкие книги в букинистических магазинчиках Праги. Я живу в стране, где интерес к книгам, чтению считается признаком некой странности, даже ненормальности, поэтому я не могу не уважать манерность, одержимость и претенциозность крошечной горстки любителей книг и собирателей библиотек. Я говорю это не для того, чтобы рассказать, как я люблю книги в библиотеке, а для того, чтобы рассказать, как я их не люблю. Я расскажу, как и почему я избавляюсь от книг.

Иногда мы расставляем книги в библиотеках напоказ, чтобы их увидели друзья, а некоторые намеренно прячем, что, собственно, и служит поводом для периодической чистки библиотек. Мы выкидываем книги, чтобы никто не узнал, что когда-то мы принимали всерьез подобную ерунду. Страсть к чистке с особой силой вспыхивает в переходные периоды нашей жизни. Мой брат отдавал свои детские книги и коллекции подшивок футбольных журналов (например, футбольного журнала «Фенербахче») мне, хотя я особенно ими не увлекался, и таким образом убивал сразу двух зайцев. В свое время я избавился от многих турецких романов, сборников отвратительных стихов и книг по социо-

логии, от советских романов и посредственных образчиков деревенской литературы, от политических журналов левого толка, которые я копил, как герой «Черной книги». Точно так же я обошелся (сначала спрятав в дальние углы) с научно-популярными книгами, мемуарами знаменитостей и легкими порнографическими романами без иллюстраций, которые часто, не удержавшись, покупал.

Решив выкинуть какую-нибудь книгу, я начинаю испытывать какое-то унижение, внутреннюю обиду, и не потому, что меня беспокоит присутствие этой книги в моей библиотеке («Политическая исповедь», «Плохой перевод», «Модный роман», «Сборник похожих друг на друга стихотворений»), нет, меня унижает то, что некогда я посчитал эту книгу нужной, купил ее, держал многие годы у себя и даже частично ее прочитал. Я стесняюсь не книги, я стесняюсь того, что посчитал ее нужной.

Вот мы и подошли к главному выводу: библиотека для меня – не предмет гордости, а источник чувства подавленности и самоуничтожения. Конечно, иногда мне тоже приятно смотреть на книги, держать их в руках, читать – так люди гордятся своей образованностью. В молодости я мечтал: когда стану писателем, буду позировать на фоне своих книг. А сейчас мне просто грустно оттого, что в эти книги вложена жизнь, вложены деньги, что я таскал их из книжных магазинов, как носильщик-хамал, и хранил; больше всего меня огорчает моя былая привязанность к ним. Мне бы хотелось,

чтобы чувство дома и ощущение уверенности возникали у меня на фоне гораздо меньшего количества книг. Наверное, все эти годы я выбрасываю книги, желая убедить себя, что обрел ту мудрость, которую ожидают от владельцев библиотек. Но я продолжаю покупать книги – и явно быстрее, чем выбрасывать. Если бы я жил рядом с какой-нибудь крупной европейской библиотекой, у меня дома было бы меньше книг. Моя главная задача – не владеть хорошими книгами, а писать хорошие книги.

А для этого необходимо иметь доступ к хорошим книгам. Но быть хорошим читателем – не значит просматривать и фиксировать текст; нужно погрузиться в текст всей душой. И за жизнь мы влюбляемся в очень немногие книги. Хорошая личная библиотека как раз и должна состоять из этих редких, но настоящих книг. Флобер был прав, когда сказал, что если человек внимательно прочитает десяток книг, то станет мудрым. Как правило, люди обычно не прочитывают и десяти, поэтому собирают книги и хвастаются библиотекой. Так как я живу в стране, где почти нет книг и библиотек, у меня, по крайней мере, есть оправдание. Двенадцать тысяч томов в моей библиотеке – источники моего вдохновения, необходимые для работы.

Возможно, из двенадцати тысяч по-настоящему я люблю десять-пятнадцать; но я влюблен в свою библиотеку. Нет, ничего подобного. Я люблю свои книги не как предметы. По-настоящему я счастлив оттого, что они рядом, я их знаю и в

любой момент могу прочесть любую; мы так же счастливы, когда знаем: есть женщины, которые всегда готовы любить нас.

Поскольку я боюсь этой привязанности, так же как боюсь любви, я рад избавляться от книг под любым удобным предлогом. За последние десять лет я нашел новый повод – раньше он не приходил мне в голову. Многие писатели, чьи книги я покупал, собирал и даже иногда читал, потому что это были «наши национальные писатели», в последние годы усиленно стараются доказать, насколько плохи мои книги. Сначала я радовался, что они придают моему творчеству такое значение. А теперь я радуюсь, что нашел более приятный повод, нежели землетрясение, чтобы очистить библиотеку от их книг. Так что на полках, отведенных в библиотеке под турецкую литературу, становится все меньше книг глупых, посредственных, неумелых, несчастных от рождения, малоизвестных и плешивых турецких писателей пятидесяти-семидесяти лет.

Глава 30

О чтении: слова или картинки

Когда носишь с собой в кармане или в сумке книгу, всегда имеешь возможность убежать в другой, более счастливый мир, особенно когда грустишь. В трудные годы молодости хорошая книга всегда была для меня источником утешения на занятиях, где я зевал до слез, а в зрелые – на скучных собраниях, где я присутствовал по необходимости или из вежливости. Позвольте перечислить несколько моментов, благодаря которым чтение становится для меня счастьем, а не обязанностью.

1. Влечение другого мира, о чем я уже говорил выше, которое можно называть «бегство от жизни». Хорошо сбежать из тусклого реального мира в иной мир, пусть и призрачный.

2. В возрасте от шестнадцати до двадцати шести лет чтение было частью процесса создания самого себя, сознательного формирования души. Каким я должен стать человеком? В чем смысл жизни? Куда уводили меня мысли, интересы, мечты, что я видел? Я знал – жизни, фантазии и мысли персонажей из рассказов и романов я сохраню в самых сокровенных уголках моей памяти и буду помнить о них всегда, как ребенок, который навсегда запоминает первое увиденное дерево, лист или кошку. Знания, полученные из книг, должны были помочь мне сформировать жизненный путь...

Чтение в эти годы стало для меня ярким, занимательным развлечением, требовавшим хорошего воображения. Сейчас я так читаю редко.

3. Обычно процесс чтения становится еще более приятным, если мы полагаем — ошибочно! — что становимся от этого мудрее и глубже. Во время чтения мы подсознательно гордимся тем, что заняты столь глубоким, интеллектуальным трудом. Пруст как-то верно сказал, что во время чтения часть нашего сознания занята не смыслом прочитанного, а столом, за которым сидим, самой книгой как вещью, лампой, освещающей стол, садом, в котором сидим, или видом вокруг. Мы ощущаем себя более серьезными и глубокими, нежели те, кто пренебрегает чтением. Я понимаю, когда читатель исподволь гордится собой, но я не переношу, когда он начинает кичиться этим.

Поэтому, говоря о себе как о читателе, хочу добавить: если бы телевидение, кино и прочие атрибуты развлечения доставляли мне то удовольствие, о котором я упомянул в первом и втором пунктах, я, вероятно, читал бы меньше. Может, когда-нибудь так и произойдет, хотя это маловероятно. Потому что буквы, слова, абзацы, тексты, книги подобны воде: они проникают везде и всюду. И то, что мы хотим увидеть и понять в жизни, проступает сквозь эти невидимые потоки воды. Хорошие книги так же необходимы, как свежие новости; именно поэтому я до сих пор привязан к книгам.

Но, думаю, было бы неправильно говорить о чтении как о

высшем наслаждении, нельзя противопоставлять рисунки и слова. Моя точка зрения, вероятно, объясняется тем, что с семи до двадцати двух лет я страстно хотел быть художником и постоянно рисовал. Книга и рисунок неразрывно связаны, они принадлежат одному миру. Чтение стимулирует мое художественное воображение, которое затем рисует картины прочитанного. Мы поднимаем голову от книги, переводим взгляд на картину, смотрим в окно или на пейзаж вокруг нас, но наш разум воспринимает не то, что мы видим вокруг, а то, что видим в другом, книжном мире. И тогда возникает ощущение, что мы не просто читаем книгу, но и являемся частью того другого мира, его творцами. Это и есть счастье – счастье одиночества. Именно оно не позволяет нам перестать читать книги.

Глава 31

Радость чтения

Этим летом я перечитал «Пармскую обитель» Стендаля. Прочитав несколько страниц этой чудесной книги, я слегка отодвигал старый том и любовался пожелтевшими страницами. (Так я делал в детстве, когда пил свою любимую газировку, – все время останавливался и с любовью смотрел на бутылку...) Я был счастлив, я носил книгу с собой и все время удивлялся тому, что счастлив оттого, что она со мной. Потом я подумал: разве можно говорить о своем впечатлении о книге, не рассказав прежде о самом романе, это все равно что говорить о любви к женщине, прежде не описав ее. Это-то я и попытаюсь сделать сейчас. (Прошу тех, кто любит роман, но не любит читать, пропускать ремарки в скобках.)

1. Следуя за многочисленными событиями романа (за битвой при Ватерлоо, за любовными и политическими интригами в маленьком княжестве), я очень переживал. Я сопереживал событиям, я жил ими, я пережил радость молодости, жажду жизни, силу смерти, любовь и одиночество.

2. Я наслаждался силой слова, глубиной наблюдений, стремительностью выводов, умением вникать в суть происходящего, остротой ума и знанием жизни, и мне казалось, будто писатель рассказывает историю мне – только мне. Я знал, что до меня эту книгу читали миллионы людей, но по-

чему-то мне казалось, что в романе есть некие штрихи, понятные и близкие только мне и автору. Эта духовная и интеллектуальная близость с гениальным писателем придавала мне уверенности, я, как и все счастливые люди, слегка возгордился.

3. Отдельные факты из жизни автора (его одиночество, любовные неудачи, ощущение непонятности и непризнанности) и легендарная история написания этого романа (он написал его за пятьдесят два дня, взяв за основу старую итальянскую хронику, надиктовав секретарю) казались мне историей моей собственной жизни.

4. На меня влияла не только духовная близость с автором; меня потрясли отдельные сцены романа, картины эпохи и зарисовки места действия (дворцовые покои, образ Наполеона, Милан, озера в его окрестностях, тема Альп с точки зрения городского жителя, споры, убийства и политические интриги). Я не отождествлял себя с этими людьми или событиями, как герой Пруста. Я не растворился в романе. Но мне нравился волнующий переход в мир, где все было так не похоже на мою жизнь, и я внимательно вглядывался в роман, как когда-то в бутылку с газировкой. Поэтому я повсюду носил книгу с собой.

5. Впервые я прочитал «Пармскую обитель» в 1972 году. Заметки, сделанные тогда на полях, места в тексте, которые я подчеркнул, показались мне наивными. Но я чувствовал привязанность к юноше, который почти тридцати лет назад

с таким усердием прочитал эту книгу, пытаясь открыть для себя новый мир, понять реальный и суметь стать лучше. Этот добродушный и наивный парень с неустоявшимися взглядами мне нравился больше, чем тот читатель, которым я стал теперь, – уверенный в себе и собственной правоте. Теперь мы читали роман вместе: я в возрасте восемнадцати лет; автор (Стендаль), мое доверенное лицо; его герои и я. И я любил этих людей.

6. Я любил эту книгу и как вещь из прошлой жизни – жизни тридцатилетней давности. Я гладил растрепанную обложку и постоянно вертел в руках ленту, служившую закладкой. Много лет назад я написал кое-какие заметки на внутренней части задней обложки. Я перечитывал их вновь и вновь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.